

Федор Михайлович Достоевский

Неточка Незванова

Оглавление

I
II
III
IV
V
VI
VII

Отца моего я не помню. Он умер, когда мне было два года. Мать моя вышла замуж в другой раз. Это второе замужество принесло ей много горя, хотя и было сделано по любви. Мой отчим был музыкант. Судьба его очень замечательна: это был самый странный, самый чудесный человек из всех, которых я знала. Он слишком сильно отразился в первых впечатлениях моего детства, так сильно, что эти впечатления имели влияние на всю мою жизнь. Прежде всего, чтоб был понятен рассказ мой, я приведу здесь его биографию. Все, что я теперь буду рассказывать, узнала я потом от знаменитого скрипача Б., который был товарищем и коротким приятелем моего отчима в своей молодости.

Фамилия моего отчима была Ефимов. Он родился в селе очень богатого помещика, от одного бедного музыканта, который, после долгих странствований, поселился в имении этого помещика и нанялся в его оркестр. Помещик жил очень пышно и более всего, до страсти, любил музыку. Рассказывали про него, что он, никогда не выезжавший из своей деревни даже в Москву, однажды вдруг решился поехать за границу на какие-то воды, и поехал не более как на несколько недель, единственно для того, чтоб услышать какого-то знаменитого скрипача, который, как уведомляли газеты, собирался дать на водах три концерта. У него был порядочный оркестр музыкантов, на который он тратил почти весь доход свой. В этот оркестр мой отчим поступил кларнетистом. Ему было двадцать два года, когда он познакомился с одним странным человеком. В этом же уезде жил богатый граф, который разорился на содержание домашнего театра. Этот граф отказал от должности капельмейстеру своего оркестра, родом итальянцу, за дурное поведение. Капельмейстер был действительно дурной человек. Когда его выгнали, он совершенно унизился, стал ходить по деревенским трактирам, напивался, иногда просил милостыню, и уже никто в целой губернии не хотел дать ему места. С этим-то человеком подружился мой отчим. Связь эта была необъяснимая и странная, потому что никто не замечал, чтоб он хоть сколько-нибудь изменился в своем поведении из подражания товарищу, и даже сам помещик, который сначала запрещал ему водиться с итальянцем, смотрел потом сквозь пальцы на их дружбу. Наконец, капельмейстер умер скоропостижно. Его нашли поутру крестьяне во рву, у плотины. Нарядили следствие, и вышло, что он умер от апоплексического удара. Имущество его сохранялось у отчима, который тотчас же и представил доказательства, что имел полное право наследовать этим имуществом: покойник оставил собственноручную записку, в которой делал Ефимова своим наследником в случае своей смерти. Наследство состояло из черного фрака, тщательно сберегавшегося покойником, который все еще надеялся достать себе место, и скрипки, довольно обыкновенной с виду. Никто не оспаривал этого наследства. Но только спустя несколько времени к помещику явился первый скрипач графского оркестра с письмом от графа. В этом письме граф просил, уговаривал Ефимова продать скрипку, оставшуюся после итальянца и которую граф очень желал приобрести для своего оркестра. Он предлагал три тысячи рублей и прибавлял, что уже несколько раз посылал за Егором Ефимовым, чтоб покончить торг лично, но что тот упорно отказывался. Граф заключал тем, что цена скрипки настоящая, что он не сбавляет ничего и в упорстве Ефимова видит для себя обидное подозрение воспользоваться при торге его простотою и незнанием, а потому и просил вразумить его.

Помещик немедленно послал за отчимом.

– Для чего ж ты не хочешь отдать скрипку? – спросил он его, – она тебе не нужна. Тебе дают три тысячи рублей, это цена настоящая, и ты делаешь неразумно, если думаешь, что тебе дадут больше. Граф тебя не станет обманывать.

Ефимов отвечал, что к графу он сам не пойдет, но если его пошлют, то на это будет воля господская; графу он скрипку не продаст, А если у него захотят взять ее насильно, то на это опять будет воля господская.

Ясное дело, что таким ответом он коснулся самой чувствительной струны в характере

помещика. Дело в том, что тот всегда с гордостью говорил, что знает, как обращаться со своими музыкантами, потому что все они до одного истинные артисты и что, благодаря им, его оркестр не только лучше графского, но и не хуже столичного.

– Хорошо! – отвечал помещик. – Я уведомя графа, что ты не хочешь продать скрипку, потому что ты не хочешь, потому что ты в полном праве продать или не продать, понимаешь? Но я сам тебя спрашиваю: зачем тебе скрипка? Твой инструмент кларнет, хоть ты и плохой кларнетист. Уступи ее мне. Я дам три тысячи. (Кто знал, что это такой инструмент!)

Ефимов усмехнулся.

– Нет, сударь, я вам ее не продам, – отвечал он, – конечно, ваша воля...

– Да разве я тебя притесняю, разве я тебя принуждаю! – закричал помещик, выведенный из себя, тем более что дело происходило при графском музыканте, который мог заключить по этой сцене очень невыгодно об участии всех музыкантов помещичьего оркестра. – Ступай же вон, неблагодарный! Чтоб я тебя не видал с этих пор! Куда бы ты делся без меня с твоим кларнетом, на котором ты и играть не умеешь? У меня же ты сыт, одет, получаешь жалованье; ты живешь на благородной ноге, ты артист, но ты этого не хочешь понимать и не чувствуешь. Ступай же вон и не раздражай меня своим присутствием!

Помещик гнал от себя всех, на кого сердился, потому что боялся за себя и за свою горячность. А ни за что бы он не захотел поступить слишком строго с «артистом», как он называл своих музыкантов.

Торг не состоялся, и, казалось, тем дело и кончилось, как вдруг, через месяц, графский скрипач затеял ужасное дело: под своею ответственностью он подал на моего отчима донос, в котором доказывал, что отчим виновен в смерти итальянца и умертвил его с корыстной целью: овладеть богатым наследством. Он доказывал, что завещание было выманено насильно, и обещался представить свидетелей своему обвинению. Ни просьбы, ни увещания графа и помещика, вступившегося за моего отчима, – ничто не могло поколебать доносчика в его намерении. Ему представляли, что медицинское следствие над телом покойного капельмейстера было сделано правильно, что доносчик идет против очевидности, может быть, по личной злобе и по досаде, не успев овладеть драгоценным инструментом, который для него покупали. Музыкант стоял на своем, божился, что он прав, доказывал, что апоплексический удар произошел не от пьянства, а от отравы, и требовал следствия в другой раз. С первого взгляда доказательства его показались серьезными. Разумеется, делу дали ход. Ефимова взяли, отослали в городскую тюрьму. Началось дело, которое заинтересовало всю губернию. Оно пошло очень быстро и кончилось тем, что музыкант был уличен в ложном доносе. Его приговорили к справедливому наказанию, но он до конца стоял на своем и уверял, что он прав. Наконец он сознался, что не имеет никаких доказательств, что доказательства, им представленные, выдуманы им самим, но что, выдумывая все это, он действовал по предположению, по догадке, потому что до сей поры, когда уже было произведено другое следствие, когда уже формально была доказана невинность Ефимова, он все еще остается в полном убеждении, что причиною смерти несчастного капельмейстера был Ефимов, хотя, может быть, он уморил его не отравой, а другим каким-нибудь образом. Но над ним не успели исполнить приговора: он внезапно заболел воспалением в мозгу, сошел с ума и умер в тюремном лазарете.

В продолжение всего этого дела помещик вел себя самым благородным образом. Он старался о моем отчине так, как будто тот был его родной сын. Несколько раз он приезжал к нему в тюрьму утешать его, дарил ему денег, привозил к нему лучших сигар, узнав, что Ефимов любил курить, и, когда отчим оправдался, задал праздник всему оркестру. Помещик смотрел на дело Ефимова как на дело, касающееся всего оркестра, потому что хорошим поведением своих музыкантов он дорожил если не более, то по крайней мере наравне с их дарованиями. Прошел целый год, как вдруг по губернии разнесся слух, что в губернский город приехал какой-то известный скрипач, француз, и намерен дать мимоездом несколько концертов. Помещик тотчас же начал стараться каким-нибудь образом залучить его к себе в

гости. Дело шло на лад; француз обещался приехать. Уже все было готово к его приезду, позван был почти целый уезд, но вдруг все приняло другой оборот.

В одно утро докладывают, что Ефимов исчез неизвестно куда. Начались поиски, но и след простыл. Оркестр был в чрезвычайном положении: недоставало кларнета, как вдруг, три дня спустя после исчезновения Ефимова, помещик получает от французского письма, в котором тот надменно отказывался от приглашения, прибавляя, конечно обиняками, что впредь будет чрезвычайно осторожен в сношениях с теми господами, которые держат собственный оркестр музыкантов, что неэстетично видеть истинный талант под управлением человека, который не знает ему цены, и что, наконец, пример Ефимова, истинного артиста и лучшего скрипача, которого он только встречал в России, служит достаточным доказательством справедливости слов его.

Прочтя это письмо, помещик был в глубоком изумлении. Он был огорчен до глубины души. Как? Ефимов, тот самый Ефимов, о котором он так заботился, которому он так благодетельствовал, этот Ефимов так беспощадно, бессовестно оклеветал его в глазах европейского артиста, такого человека, мнением которого он высоко дорожил! И наконец, письмо было необъяснимо в другом отношении: уведомляли, что Ефимов артист с истинным талантом, что он скрипач, но что не умели угадать его таланта и принуждали его заниматься другим инструментом. Все это так поразило помещика, что он немедленно собрался ехать в город для свидания с французом, как вдруг получил записку от графа, в которой тот приглашал его немедленно к себе и уведомлял, что ему известно все дело, что заезжий виртуоз теперь у него, вместе с Ефимовым, что он, будучи изумлен дерзостью и клеветой последнего, приказал задержать его и что, наконец, присутствие помещика необходимо и потому еще, что обвинение Ефимова касается даже самого графа; дело это очень важно, и нужно его разъяснить как можно скорее.

Помещик, немедленно отправившись к графу, тотчас же познакомился с французом и объяснил всю историю моего отчима, прибавив, что он не подозревал в Ефимове такого огромного таланта, что Ефимов был у него, напротив, очень плохим кларнетистом и что он только в первый раз слышит, будто оставивший его музыкант – скрипач. Он прибавил еще, что Ефимов человек вольный, пользовался полною свободою и всегда, во всякое время, мог бы оставить его, если бы действительно был притеснен. Француз был в удивлении. Позвали Ефимова, и его едва можно было узнать: он вел себя заносчиво, отвечал с насмешкою и настаивал в справедливости того, что успел наговорить французам. Все это до крайности раздражило графа, который прямо сказал моему отчиму, что он негодяй, клеветник и достоин самого постыдного наказания.

– Не беспокойтесь, ваше сиятельство, я уже довольно с вами знаком и знаю вас хорошо, – отвечал мой отчим, – по вашей милости, я едва ушел от уголовного наказания. Знаю, по чьему наущенью Алексей Никифорович, ваш бывший музыкант, донес на меня.

Граф был вне себя от гнева, услышав такое ужасное обвинение. Он едва мог совладеть с собою; но случившийся в зале чиновник, который заехал к графу по делу, объявил, что он не может оставить всего этого без последствий, что обидная грубость Ефимова заключает в себе злое, несправедливое обвинение, клевету и он покорнейше просит позволить арестовать его сейчас же, в графском доме. Француз изъявил полное негодование и сказал, что не понимает такой черной неблагодарности. Тогда мой отчим ответил с запальчивостью, что лучше наказание, суд и хоть опять уголовное следствие, чем то житье, которое он испытал до сих пор, состоя в помещичьем оркестре и не имея средств оставить его раньше, за свою крайнюю бедностью, и с этими словами вышел из залы вместе с арестовавшими его. Его заперли в отдаленную комнату дома и пригрозили, что завтра же отправят его в город.

Около полуночи отворилась дверь в комнату арестанта. Вошел помещик. Он был в халате, в туфлях и держал в руках зажженный фонарь. Казалось, он не мог заснуть, и мучительная забота заставила его в такой час оставить постель. Ефимов не спал и с изумлением взглянул на вошедшего. Тот поставил фонарь и в глубоком волнении сел против него на стул.

– Егор, – сказал он ему, – за что ты так обидел меня?

Ефимов не отвечал. Помещик повторил свой вопрос, и какое-то глубокое чувство, какая-то странная тоска звучала в словах его.

– А бог знает, за что я так обидел вас, сударь! – отвечал наконец мой отчим, махнув рукою, – знать, бес попутал меня! И сам не знаю, кто меня на все это наталкивает! Ну, не житье мне у вас, не житье... Сам дьявол привязался ко мне!

– Егор! – начал снова помещик, – воротись ко мне; я все позабуду, все тебе прощу. Слушай: ты будешь первым из моих музыкантов; я положу тебе не в пример другим жалованье...

– Нет, сударь, нет, и не говорите: не жилец я у вас! Я вам говорю, что дьявол ко мне навязался. Я у вас дом зажгу, коли останусь; на меня находит, и такая тоска подчас, что лучше бы мне на свет не родиться! Теперь я и за себя отвечать не могу: уж вы лучше, сударь, оставьте меня. Это все с тех пор, как тот дьявол побратался со мною...

– Кто? – спросил помещик.

– А вот, что издох как собака, от которой свет отступился, итальянец.

– Это он тебя, Егорушка, играть выучил?

– Да! Многому он меня научил на мою погибель. Лучше б мне никогда его не видеть.

– Разве и он был мастер на скрипке, Егорушка?

– Нет, он сам мало знал, а учил хорошо. Я сам выучился; он только показывал, – и легче, чтоб у меня рука отсохла, чем эта наука. Я теперь сам не знаю, чего хочу. Вот спросите, сударь: «Егорка! чего ты хочешь? все могу тебе дать», – а я, сударь, ведь ни слова вам в ответ не скажу, затем что сам не знаю, чего хочу. Нет, уж вы лучше, сударь, оставьте меня, в другой раз говорю. Уж я что-нибудь такое над собой сделаю, чтоб меня куда-нибудь подальше спровадили, да и дело с концом!

– Егор! – сказал помещик после минутного молчания, – я тебя так не оставлю. Коли не хочешь служить у меня, ступай; ты же человек вольный, держать тебя я не могу; но я теперь так не уйду от тебя. Сыграй мне что-нибудь, Егор, на твоей скрипке, сыграй! ради бога, сыграй! Я тебе не приказываю, пойми ты меня, я тебя не принуждаю; я тебя прошу слезно: сыграй мне, Егорушка, ради бога, то, что ты французу играл! Отведи душу! Ты упрям, и я упрям; знать, у меня тоже свой норов, Егорушка! Я тебя чувствую, почувствуй и ты, как я. Жив не могу быть, покамест ты мне не сыграешь того, по своей доброй воле и охоте, что французу играл.

– Ну, быть так! – сказал Ефимов. – Дал я, сударь, зарок никогда перед вами не играть, именно перед вами, а теперь сердце мое разрешилось. Сыграю я вам, но только в первый и последний раз, и больше, сударь, вам никогда и нигде меня не услышать, хоть бы тысячу рублей мне посулили.

Тут он взял скрипку и начал играть свои вариации на русские песни. Б. говорил, что эти вариации – его первая и лучшая пьеса на скрипке и что больше он никогда ничего не играл так хорошо и с таким вдохновением. Помещик, который и без того не мог равнодушно слышать музыку, плакал навзрыд. Когда игра кончилась, он встал со стула, вынул триста рублей, подал их моему отчиму и сказал:

– Теперь ступай, Егор. Я тебя выпущу отсюда и сам все улажу с графом; но слушай: больше уж ты со мной не встречайся. Перед тобой дорога широкая, и коль столкнемся на ней, так и мне и тебе будет обидно. Ну, прощай!.. Подожди! еще один мой совет тебе на дорогу, только один: не пей и учись, все учись; не зазнавайся! Говорю тебе, как бы отец твой родной сказал тебе. Смотри же, еще раз повторяю: учись и чарки не знай, а хлебнешь раз с горя (а горя-то много будет!) – пиши пропало, все к бесу пойдет, и, может, сам где-нибудь во рву, как твой итальянец, издохнешь. Ну, теперь прощай!.. Постой, поцелуй меня!

Они поцеловались, и вслед за тем мой отчим вышел на свободу.

Едва он очутился на свободе, как тотчас же начал тем, что прокутил в ближайшем уездном городе свои триста рублей, побратавшись в то же время с самой черной, грязной компанией каких-то гуляк, и кончил тем, что, оставшись один в нищете и без всякой

помощи, вынужден был вступить в какой-то жалкий оркестр бродячего провинциального театра в качестве первой и, может быть, единственной скрипки. Все это не совсем согласовалось с его первоначальными намерениями, которые состояли в том, чтоб как можно скорее идти в Петербург учиться, достать себе хорошее место и вполне образовать из себя артиста. Но житье в маленьком оркестре не сладилось. Мой отчим скоро поссорился с антрепренером странствующего театра и оставил его. Тогда он совершенно упал духом и даже решился на отчаянную меру, глубоко язвившую его гордость. Он написал письмо к известному нам помещику, изобразил ему свое положение и просил денег. Письмо было написано довольно независимо, но ответа на него не последовало. Тогда он написал другое, в котором, в самых унижительных выражениях, называя помещика своим благодетелем и величая его титулом настоящего ценителя искусств, просил его опять о вспоможении. Наконец ответ пришел. Помещик прислал сто рублей и несколько строк, писанных рукою его камердинера, в которых объявлял, чтоб впредь избавить его от всяких просьб. Получив эти деньги, отчим тотчас же хотел отправиться в Петербург, но, по расплате долгов, денег оказалось, так мало, что о путешествии нельзя было и думать. Он снова остался в провинции, опять поступил в какой-то провинциальный оркестр, потом опять не ужился в нем и, переходя таким образом с одного места на другое, с вечной идеей попасть в Петербург как-нибудь в скором времени, пробыл в провинции целые шесть лет. Наконец какой-то ужас напал на него. С отчаянием заметил он, сколько потерпел его талант, беспрерывно стесняемый беспорядочною, нищенскою жизнью, и в одно утро он бросил своего антрепренера, взял свою скрипку и пришел в Петербург, почти прося милостыню. Он поселился где-то на чердаке и тут-то в первый раз сошелся с Б., который только что приехал из Германии и тоже замышлял составить себе карьеру. Они скоро подружились, и Б. с глубоким чувством вспоминает даже и теперь об этом знакомстве. Оба были молоды, оба с одинаковыми надеждами, и оба с одною и тою же целью. Но Б. еще был в первой молодости; он перенес еще мало нищеты и горя; сверх того, он был прежде всего немец и стремился к своей цели упрямо, систематически, с совершенным сознанием сил своих и почти рассчитав заранее, что из него выйдет, – тогда как товарищу его было уже тридцать лет, тогда как уже он устал, утомился, потерял всякое терпение и выбился из первых, здоровых сил своих, принужденный целые семь лет из-за куска хлеба бродяжничать по провинциальным театрам и по оркестрам помещиков. Его поддерживала только одна вечная, неподвижная идея – выбиться наконец из скверного положения, скопить денег и попасть в Петербург. Но эта идея была темная, неясная; это был какой-то неотразимый внутренний призыв, который наконец с годами потерял свою первую ясность в глазах самого Ефимова, и когда он явился в Петербург, то уже действовал почти бессознательно, по какой-то вечной, старинной привычке вечного желания и обдумывания этого путешествия и почти уже сам не зная, что придется ему делать в столице. Энтузиазм его был какой-то судорожный, желчный, порывчатый, как будто он сам хотел обмануть себя этим энтузиазмом и увериться через него, что еще не иссякли в нем первая сила, первый жар, первое вдохновение. Этот беспрерывный восторг поразил холодного, методического Б.; он был ослеплен и приветствовал моего отчима как будущего великого музыкального гения. Иначе он не мог и представить себе будущую судьбу своего товарища. Но вскоре Б. открыл глаза и разгадал его совершенно. Он ясно увидел, что вся эта порывчатость, горячка и нетерпение – не что иное, как бессознательное отчаяние при воспоминании о пропавшем таланте; что даже, наконец, и самый талант, может быть, и в самом-то начале был вовсе не так велик, что много было ослепления, напрасной самоуверенности, первоначального самоудовлетворения и беспрерывной фантазии, беспрерывной мечты о собственном гении. «Но, – рассказывал Б., – я не мог не удивляться странной натуре моего товарища. Передо мной совершалась въявь отчаянная, лихорадочная борьба судорожно напряженной воли и внутреннего бессилия. Несчастный целые семь лет до того удовлетворялся одними мечтами о будущей славе своей, что даже не заметил, как потерял самое первоначальное в нашем искусстве, как утратил даже самый первоначальный механизм дела. А между тем в его беспорядочном воображении

поминутно создавались самые колоссальные планы для будущего. Мало того, что он хотел быть первоклассным гением, одним из первых скрипачей в мире; мало того, что уже почитал себя таким гением, – он, сверх того, думал еще сделаться композитором, не зная ничего о контрапункте. Но всего более изумляло меня, – прибавлял Б., – то, что в этом человеке, при его полном бессилии, при самых ничтожных познаниях в технике искусства, – было такое глубокое, такое ясное и, можно сказать, инстинктивное понимание искусства. Он до того сильно чувствовал его и понимал про себя, что не диво, если заблудился в собственном сознании о самом себе и принял себя, вместо глубокого, инстинктивного критика искусства, за жреца самого искусства, за гения. Порой ему удавалось на своем грубом, простом языке, чуждом всякой науки, говорить мне такие глубокие истины, что я становился в тупик и не мог понять, каким образом он угадал это все, никогда ничего не читав, никогда ничему не учившись, и я много обязан ему, – прибавлял Б., – ему и его советам в собственном усовершенствовании. Что же касается до меня, – продолжал Б., – то я был спокоен насчет себя самого. Я тоже страстно любил свое искусство, хотя знал при самом начале моего пути, что большего мне не дано, что я буду, в собственном смысле, чернорабочий в искусстве; но зато я горжусь тем, что не зарыл, как ленивый раб, того, что мне дано было от природы, а, напротив, возрастил сторицею, и если хвалят мою отчетливость в игре, удивляются выработанности механизма, то всем этим я обязан непрерывному, неусыпному труду, ясному сознанию сил своих, добровольному самоуничтожению и вечной вражде к заносчивости, к раннему самоудовлетворению и к лени как естественному последствию этого самоудовлетворения».

Б. в свою очередь попробовал поделиться советами со своим товарищем, которому так подчинился в самом начале, но только напрасно сердил его. Между ними последовало охлаждение. Вскоре Б. заметил, что товарищем его все чаще и чаще начинает овладевать апатия, тоска и скука, что порывы энтузиазма его становятся реже и реже и что за всем этим последовало какое-то мрачное, дикое уныние. Наконец, Ефимов начал оставлять свою скрипку и не притрогивался иногда к ней по целым неделям. До совершенного падения было недалеко, и вскоре несчастный впал во все пороки. От чего предостерегал его помещик, то и случилось: он предался неумеренному пьянству. Б. с ужасом смотрел на него; советы его не подействовали, да и, кроме того, он боялся выговорить слово. Мало-помалу Ефимов дошел до самого крайнего цинизма: он нисколько не совестился жить на счет Б. и даже поступал так, как будто имел на то полное право. Между тем средства к жизни истощались; Б. кое-как перебивался уроками или нанимался играть на вечеринках у купцов, у немцев, у бедных чиновников, которые хотя понемногу, но что-нибудь платили. Ефимов как будто не хотел и заметить нужды своего товарища: он обращался с ним сурово и по целым неделям не удостоивал его ни одним словом. Однажды Б. заметил ему самым кротким образом, что не худо бы ему было не слишком пренебрегать своей скрипкой, чтоб не отучить от себя совсем инструмента; тогда Ефимов совсем рассердился и объявил, что он нарочно не дотронется никогда до своей скрипки, как будто воображая, что кто-нибудь будет упрашивать его о том на коленях. Другой раз Б. понадобился товарищ, чтоб играть на одной вечеринке, и он пригласил Ефимова. Это приглашение привело Ефимова в ярость. Он с запальчивостью объявил, что он не уличный скрипач и не будет так подл, как Б., чтоб унижать благородное искусство, играя перед подлыми ремесленниками, которые ничего не поймут в его игре и таланте. Б. не ответил на это ни слова, но Ефимов, надумавшись об этом приглашении в отсутствие своего товарища который ушел играть, вообразил, что все это было только намеком на то, что он живет на счет Б., и желание дать знать, чтоб он тоже попробовал зарабатывать деньги. Когда Б. воротился, Ефимов вдруг стал укорять его за подлость его поступка и объявил что не останется более с ним не минуты. Он действительно исчез куда-то на два дня, но на третий явился опять, как ни в чем не бывало, и снова начал продолжать свою прежнюю жизнь.

Только прежняя свычка и дружба да еще сострадание, которое чувствовал Б. к погибшему человеку, удерживали его от намерения кончить такое безобразное жите и

расстаться навсегда со своим товарищем. Наконец они расстались. Б. улыбнулось счастье: он приобрел чье-то сильное покровительство, и ему удалось дать блестящий концерт. В это время он уже был превосходный артист, и скоро его быстро возрастающая известность доставила ему место в оркестре оперного театра, где он так скоро составил себе вполне заслуженный успех. Расставаясь, он дал Ефимову денег и со слезами умолял его возвратиться на истинный путь. Б. и теперь не может вспомнить об нем без особенного чувства. Знакомство с Ефимовым было одним из самых глубоких впечатлений его молодости. Вместе они начали свое поприще, так горячо привязались друг к другу, и даже самая странность, самые грубые, резкие недостатки Ефимова привязывали к нему Б. еще сильнее. Б. понимал его; он видел его насквозь и предугадывал, чем все это кончится. При расставанье они обнялись и оба заплакали. Тогда Ефимов, сквозь слезы и рыдания, проговорил, что он погибший, несчастнейший человек, что он давно это знал, но что теперь только усмотрел ясно свою гибель.

– У меня нет таланта! – заключил он, побледнев как мертвый.

Б. был сильно тронут.

– Послушай, Егор Петрович, – говорил он ему, – что ты над собою делаешь? Ты ведь только губишь себя своим отчаянием; у тебя нет ни терпения, ни мужества. Теперь ты говоришь в припадке уныния, что у тебя нет таланта. Неправда! У тебя есть талант, я тебя в том уверяю. У тебя он есть. Я вижу это уж по одному тому, как ты чувствуешь и понимаешь искусство. Это я докажу тебе и всю твою жизнь. Ты же рассказывал мне о своем прежнем житье. И тогда тебя посетило бессознательно то же отчаяние. Тогда твой первый учитель, этот странный человек, о котором ты мне так много рассказывал, впервые пробудил в тебе любовь к искусству и угадал твой талант. Ты так же сильно и тяжело почувствовал это тогда, как и теперь чувствуешь. Но ты не знал сам, что с тобою делается. Тебе не жилось в доме помещика, и ты сам не знал, чего тебе хотелось. Учитель твой умер слишком рано. Он оставил тебя только с одними неясными стремлениями и, главное, не объяснил тебе тебя же самого. Ты чувствовал, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели, но ты не понимал, как это сделается, и в тоске своей возненавидел все, что тебя окружало тогда. Твои шесть лет бедности и нищеты не погибли даром; ты учился, ты думал, ты сознавал себя и свои силы, ты понимаешь теперь искусство и свое назначение. Друг мой, нужно терпение и мужество. Тебя ждет жребий завиднее моего: ты во сто раз более художник, чем я; но дай бог тебе хоть десятую долю моего терпения. Учись и не пей, как говорил тебе твой добрый помещик, а главное – начинай сызнова, с азбуки. Что тебя мучит? бедность, нищета. Но бедность и нищета образуют художника. Они неразлучны с началом. Ты еще никому не нужен теперь, никто тебя и знать не хочет; так свет идет. Подожди, не то еще будет, когда узнают, что в тебе есть дарование. Зависть, мелочная подлость, а пуще всего глупость налягут на тебя сильнее нищеты. Таланту нужно сочувствие, ему нужно, чтоб его понимали, а ты увидишь, какие лица обступят тебя, когда ты хоть немного достигнешь цели. Они будут ставить ни во что и с презрением смотреть на то, что в тебе выработалось тяжким трудом, лишениями, голодом, бессонными ночами. Они не ободрят, не утешат тебя, твои будущие товарищи; они не укажут тебе на то, что в тебе хорошо и истинно, но с злою радостью будут поднимать каждую ошибку твою, будут указывать тебе именно на то, что у тебя дурно, на то, в чем ты ошибаешься, и под наружным видом хладнокровия и презрения к тебе будут как праздник праздновать каждую твою ошибку (будто кто-нибудь был без ошибок!). Ты же заносчив, ты часто некстати горд и можешь оскорбить самолюбивую ничтожность, и тогда беда – ты будешь один, а их много; они тебя истерзают булавками. Даже я начинаю это испытывать. Ободрись же теперь! Ты еще совсем не так беден, ты можешь жить, не пренебрегай черной работой, руби дрова, как я рубил их на вечеринках у бедных ремесленников. Но ты нетерпелив, ты болен своим нетерпением, у тебя мало простоты, ты слишком хитришь, слишком много думаешь, много даешь работы своей голове; ты дерзок на словах и трусишь, когда придется взять в руки смычок. Ты самолюбив, и в тебе мало смелости. Смелей же, подожди, поучись, и если не надеешься на силы свои, так

иди на авось; в тебе есть жар, есть чувство. Авось дойдешь до цели, а если нет, все-таки иди на авось: не потеряешь ни в каком случае, потому что выигрыш слишком велик. Тут, брат, наше *авось* – дело великое!

Ефимов слушал своего бывшего товарища с глубоким чувством. Но по мере того как он говорил, бледность сходила со щек его; они оживились румянцем; глаза его сверкали непривычным огнем смелости и надежды. Скоро эта благородная смелость перешла в самоуверенность, потом в обычную дерзость, и, наконец, когда Б. оканчивал свое увещание, Ефимов уже слушал его рассеянno и с нетерпением. Однакож он горячо сжал ему руку, поблагодарил его и, скорый в своих переходах от глубокого самоуничтожения и уныния до крайней надменности и дерзости, объявил самонадеянно, чтоб друг его не беспокоился об его участи, что он знает, как устроить свою судьбу, что скоро и он надеется достать себе покровительство, даст концерт и тогда разом зазовет себе и славу и деньги. Б. пожал плечами, но не противоречил своему бывшему товарищу, и они расстались, хотя, разумеется, ненадолго. Ефимов тотчас же прожил данные ему деньги и пришел за ними в другой раз, потом в третий, потом в четвертый, потом в десятый, наконец Б. потерял терпение и не сказывался дома. С тех пор он потерял его совсем из виду.

Прошло несколько лет. Один раз Б., возвращаясь с репетиции домой, наткнулся в одном переулке, у входа в грязный трактир, на человека дурно одетого, хмельного, который назвал его по имени. Это был Ефимов. Он очень изменился, пожелтел, отек в лице; видно было, что беспутная жизнь положила на него свое клеймо неизгладимым образом. Б. обрадовался чрезвычайно и, не успев перемолвить с ним двух слов, пошел за ним в трактир, куда тот потащил его. Там, в отдаленной маленькой закопченной комнате, он разглядел поближе своего товарища. Тот был почти в лохмотьях, в худых сапогах; растрепанная манишка его была вся залита вином. Волосы на голове его начали сесть и вылезать.

– Что с тобою? Где ты теперь? – спрашивал Б.

Ефимов сконфузился, даже сбробел сначала, отвечал бессвязно и отрывисто, так что Б. подумал, что он видит пред собою помешанного. Наконец Ефимов признался, что не может ничего говорить, если не дадут выпить водки, и что в трактире ему уже давно не верят. Говоря это, он краснел, хотя и постарался ободрить себя каким-то бойким жестом; но вышло что-то нахальное, выделанное, назойливое, так что все было очень жалко и возбудило сострадание в добром Б., который увидел, что опасения его сбылись вполне. Однако ж он приказал подать водки. Ефимов изменился в лице от благодарности и до того потерялся, что со слезами на глазах готов был целовать руки своего благодетеля. За обедом Б. узнал с величайшим удивлением, что несчастный женат. Но еще более изумился он, когда тут же узнал, что жена составила все его несчастье и горе и что женитьба убила вполне весь талант его.

– Как так? – спросил Б.

– Я, брат, уже два года как не беру в руки скрипку, – отвечал Ефимов. – Баба, кухарка, необразованная, грубая женщина. Чтоб ее!.. Только деремса, больше ничего не делаем.

– Да зачем же ты женился, коли так?

– Есть было нечего. Я познакомился с ней; у ней было рублей с тысячу: я и женился очертя голову. Она же влюбилась в меня. Сама ко мне повисла на шею. Кто ее наталкивал! Деньги прожиты, пропиты, братец, и – какой тут талант! Все пропало!

Б. увидел, что Ефимов как будто спешил в чем-то перед ним оправдаться.

– Все бросил, все бросил, – прибавил он. Тут он ему объявил, что в последнее время почти достиг совершенства на скрипке, что, пожалуй, хотя Б. и из первых скрипачей в городе, а ему и в подметки не станет, если он захочет того.

– Так за чем же дело стало? – сказал удивленный Б. – Ты бы искал себе места?

– Не стоит! – сказал Ефимов, махнув рукою. – Кто из вас там хоть что-нибудь понимает! Что вы знаете? Шиш, ничего, вот что вы знаете! Плясовую какую-нибудь в балетце каком прогудеть – ваше дело. Скрипачей-то вы дорогих и не видали и не слышали. Чего вас трогать; оставайтесь себе, как хотите!

Тут Ефимов снова махнул рукой и покачнулся на стуле, потому что порядочно охмелел. Затем он стал звать к себе Б.; но тот отказался, взял его адрес и уверил, что завтра же зайдет к нему. Ефимов, который теперь уже был сыт, насмешливо поглядывал на своего бывшего товарища и всячески старался чем-нибудь уколоть его. Когда они уходили, он схватил богатую шубу Б. и подал ее, как низший высшему. Проходя мимо первой комнаты, он остановился и отрекомендовал Б. трактирщикам и публике как первую и единственную скрипку в целой столице. Одним словом, он был чрезвычайно грязен в эту минуту.

Б., однако ж, отыскал его на другое утро на чердаке, где все мы жили тогда в крайней бедности, в одной комнате. Мне было тогда четыре года, и уже два года тому, как матушка моя вышла за Ефимова. Это была несчастная женщина. Прежде она была гувернантка, была прекрасно образована, хороша собой и, по бедности, вышла замуж за старика чиновника, моего отца. Она жила с ним только год. Когда же отец мой умер скоропостижно и скудное наследство было разделено между его наследниками, матушка осталась одна со мною, с ничтожною суммою денег, которая досталась на ее долю. Идти в гувернантки опять, с малолетним ребенком на руках, было трудно. В это время, каким-то случайным образом, она встретила с Ефимовым и действительно влюбилась в него. Она была энтузиастка, мечтательница, видела в Ефимове какого-то гения, поверила его заносчивым словам о блестящей будущности; воображению ее льстила славная участь быть опорой, руководительницей гениального человека, и она вышла за него замуж. В первый же месяц исчезли все ее мечты и надежды, и перед ней осталась жалкая действительность. Ефимов который действительно женился, может быть, из-за того, что у матушки моей была какая-нибудь тысяча рублей денег, как только они были прожиты, сложил руки и, как будто радуясь предлогу, немедленно объявил всем и каждому, что женитьба сгубила его талант, что ему нельзя было работать в душной комнате, глаз на глаз с голодным семейством, что тут не пойдут на ум песни да музыка и что, наконец, видно, ему на роду написано было такое несчастье. Кажется, он и сам потом уверялся в справедливости своих жалоб и, казалось, обрадовался новой отговорке. Казалось, этот несчастный, погибший талант сам искал внешнего случая, на который бы можно было свалить все неудачи, все бедствия. Увериться же в ужасной мысли, что он уже давно и навсегда погиб для искусства, он не мог. Он судорожно боролся, как с болезненным кошмаром, с этим ужасным убеждением, и, наконец, когда действительность одолевала его, когда минутами открывались его глаза, он чувствовал, что готов был сойти с ума от ужаса. Он не мог так легко разувериться в том, что так долго составляло всю жизнь его, и до последней минуты своей думал, что минута еще не ушла. В часы сомнения он предавался пьянству, которое своим безобразным чадом прогоняло тоску его. Наконец, он, может быть, сам не знал, как необходима была ему жена в это время. Это была живая отговорка, и, действительно, мой отчим чуть не помешался на той идее, что, когда он схоронит жену, *которая погубила его*, все пойдет своим чередом. Бедная матушка не понимала его. Как настоящая мечтательница, она не вынесла и первого шага в враждебной действительности: она сделалась вспыльчива, желчна, бранлива, поминутно ссорилась с мужем, который находил какое-то наслаждение мучить ее, и беспрестанно гнала его за работу. Но ослепление, неподвижная идея моего отчима, его сумасбродство сделали его почти бесчеловечным и бесчувственным. Он только смеялся и поклялся не брать в руки скрипки до самой смерти жены, что и объявил ей с жестокой откровенностью. Матушка, которая до самой смерти своей страстно любила его, несмотря ни на что, не могла выносить такой жизни. Она сделалась вечно больною, вечно страждущею, жила в непрерывных терзаниях, и кроме всего этого горя на нее одну пала вся забота о пропитании семейства. Она начала готовить кушанье и сначала открыла у себя стол для приходящих. Но муж таскал у нее потихоньку все деньги, и она принуждена была часто отправлять вместо обеда пустую посуду тем, для которых работала. Когда Б. посетил нас, она занималась мытьем белья и перекрашиванием старого платья. Таким образом, мы все кое-как перебивались на нашем чердаке.

Нищета нашего семейства поразила Б.

– Послушай, вздор ты все говоришь, – сказал он отчиму, – где тут убитый талант? Она же тебя кормит, а ты что тут делаешь?

– А ничего! – отвечал отчим.

Но Б. еще не знал всех бедствий матушки. Муж часто заводил к себе в дом целые ватаги разных сорванцов и буянов, и тогда чего не было!

Б. долго убеждал своего прежнего товарища; наконец объявил ему, что если он не захочет исправиться, то ни в чем ему не поможет; сказал без околичностей, что денег ему не даст, потому что он их пропьет, и попросил наконец сыграть ему что-нибудь на скрипке, чтоб посмотреть, что можно будет для него сделать. Когда же отчим пошел за скрипкой, Б. потихоньку стал давать денег моей матери, но та не брала. В первый раз ей приходилось принимать подаяние! Тогда Б. отдал их мне, и бедная женщина залилась слезами. Отчим принес скрипку, но сначала попросил водки, сказав, что без этого не может играть. Послали за водкой. Он выпил и расходился.

– Я сыграю тебе что-нибудь из моего собственного, по дружбе, – сказал он Б. и вытащил толстую запыленную тетрадь из-под комода.

– Все это я сам написал, – сказал он, указывая на тетрадь. – Вот ты увидишь! Это, брат, не ваши балетцы!

Б. молча просмотрел несколько страниц; потом развернул ноты, которые были при нем, и попросил отчима, оставив в стороне собственное сочинение, разыграть что-нибудь из того, что он сам принес.

Отчим немного обиделся, однакож, боясь потерять новое покровительство, исполнил приказание Б. Тут Б. увидел, что прежний товарищ его действительно много занимался и приобрел во время их разлуки, хотя хвалился, что уже с самой женитьбы не берет в руки инструмента. Надобно было видеть радость моей бедной матери. Она глядела на мужа и снова гордилась им. Искренно обрадовавшись, добрый Б. решился пристроить отчима. Он уже тогда имел большие связи и немедленно стал просить и рекомендовать своего бедного товарища, взяв с него предварительное слово, что он будет вести себя хорошо. А покамест он одел его получше, на свой счет, и повел к некоторым известным лицам, от которых зависело то место, которое он хотел достать для него. Дело в том, что Ефимов чванился только на словах, но, кажется, с величайшею радостью принял предложение своего старого друга. Б. рассказывал, что ему становилось стыдно за всю лесть и за все униженное поклонение, которыми отчим старался его задобрить, боясь как-нибудь потерять его благорасположение. Он понимал, что его ставят на хорошую дорогу, и даже перестал пить. Наконец ему приискали место в оркестре театра. Он выдержал испытание хорошо, потому что в один месяц прилежания и труда воротил все, что потерял в полтора года бездействия, обещал и впредь заниматься и быть исправным и точным в своих новых обязанностях. Но положение нашего семейства совсем не улучшилось. Отчим не давал матушке ни копейки из жалованья, все проживал сам, пропивал и проедал с новыми приятелями, которых тотчас же завел целый кружок. Он водился преимущественно с театральными служителями, хористами, фигурантами – одним словом, с таким народом, между которым мог первенствовать, и избегал людей истинно талантливых. Он успел им внушить к себе какое-то особенное уважение, тотчас же натолковал им, что он непризнанный человек, что он с великим талантом, что его сгубила жена и что, наконец, их капельмейстер ничего не смыслит в музыке. Он смеялся над всеми артистами оркестра, над выбором пьес, которые ставят на сцену, и, наконец, над самыми авторами игравшихся опер. Наконец, он начал толковать какую-то новую теорию музыки, – словом, надоел всему оркестру, перессорился с товарищами, с капельмейстером, грубил начальству, приобрел репутацию самого беспокойного, самого вздорного и вместе с тем самого ничтожного человека и довел до того, что стал для всех невыносимым.

И действительно, было чрезвычайно странно видеть, что такой незначительный человек, такой дурной, бесполезный исполнитель и нерадивый музыкант в то же время с такими огромными претензиями, с такою хвастливостью, чванством, с таким резким тоном.

Кончилось тем, что отчим поссорился с Б., выдумал самую скверную сплетню, самую гадкую клевету и пустил ее в ход за очевидную истину. Его выжили из оркестра после полугодовой беспорядочной службы за нерадивость в исполнении обязанности и нетрезвое поведение. Но он не покинул так скоро своего места. Скоро его увидели в прежних лохмотьях, потому что порядочное платье все было снова продано и заложено. Он стал приходить к прежним сослуживцам, рады или не рады были они такому гостю, разносил сплетни, болтал вздор, плакался на свое житье-бытье и звал всех к себе глядеть злодейку жену его. Конечно, нашлись слушатели, нашлись такие люди, которые находили удовольствие, напоив выгнанного товарища, заставляя его болтать всякий вздор. К тому же он говорил всегда остро и умно и пересыпал свою речь едкой желчью и разными циническими выходками, которые нравились известного рода слушателям. Его принимали за какого-то сумасбродного шута, которого иногда приятно заставить болтать от безделья. Любили дразнить его, говоря при нем о каком-нибудь новом заезде скрипаче. Слыша это, Ефимов менялся в лице, робел, разузнавал, кто приехал и кто такой новый талант, и тотчас же начинал ревновать к его славе. Кажется, только с этих пор началось его настоящее систематическое помешательство – его неподвижная идея о том, что он первейший скрипач, по крайней мере в Петербурге, но что он гоним судьбою, обижен, по разным интригам не понят и находится в неизвестности. Последнее даже льстило ему, потому что есть такие характеры, которые очень любят считать себя обиженными и угнетенными, жаловаться на это вслух или утешать себя втихомолку, поклоняясь своему непризнанному величию. Всех петербургских скрипачей он знал наперечет и, по своим понятиям, ни в ком из них не находил себе соперника. Знатоки и дилетанты, которые знали несчастного сумасброда, любили заговорить при нем о каком-нибудь известном, талантливом скрипаче, чтоб заставить его говорить в свою очередь. Они любили его злость, его едкие замечания, любили дельные и умные вещи, которые он говорил, критикуя игру своих мнимых соперников. Часто не понимали его, но зато были уверены, что никто в свете не умеет так ловко и в такой бойкой карикатуре изобразить современные музыкальные знаменитости. Даже эти самые артисты, над которыми он так насмеялся, немного боялись его, потому что знали его едкость, сознавались в дельности нападок его и в справедливости его суждения в том случае, когда нужно было хулить. Его как-то привыкли видеть в коридорах театра и за кулисами. Служители пропускали его беспрепятственно, как необходимое лицо, и он сделался каким-то домашним Ферситом.¹ Такое житье продолжалось года два или три; но наконец он наскучил всем даже и в этой последней роли. Последовало формальное изгнание, и, в последние два года своей жизни, отчим как будто в воду канул и его уже нигде не видали. Впрочем, Б. встретил его два раза, но в таком жалком виде, что сострадание еще раз взяло в нем верх над отвращением. Он позвал его, но отчим обиделся, сделал вид, будто ничего не слышал, нахлобучил на глаза свою старую исковерканную шляпу и прошел мимо. Наконец, в какой-то большой праздник Б. доложили поутру, что пришел его поздравить прежний товарищ его, Ефимов. Б. вышел к нему. Ефимов стоял хмельной, начал кланяться чрезвычайно низко, чуть не в ноги, что-то шевелил губами и упорно не хотел идти в комнаты. Смысл его поступка был тот, что где, дескать, нам, бесталанным людям, водиться с такою знатью, как вы; что для нас, маленьких людей, довольно и лакейского места, чтоб с праздником поздравить: поклонимся и уйдем отсюда. Одним словом, все было сально, глупо и отвратительно гадко. С этих пор Б. очень долго не видал его, ровно до самой катастрофы, которою разрешилась вся эта печальная, болезненная и чадная жизнь. Она разрешилась страшным образом. Эта катастрофа тесно связана не только с первыми впечатлениями моего детства, но даже и со всею моею жизнью. Вот каким образом случилась она... Но прежде я должна объяснить, что такое было мое детство и что такое был для меня этот человек, который так мучительно отразился в первых моих впечатлениях и который был причиною смерти моей бедной

¹ Ферсит (Терсит) – в греческой мифологии незнатный воин, враг Ахилла и Одиссея.

матушки.

II

Я начала себя помнить очень поздно, только с девятого года. Не знаю, каким образом все, что было со мною до этого возраста, не оставило во мне никакого ясного впечатления, о котором бы я могла теперь вспомнить. Но с половины девятого года я помню все отчетливо, день за днем, непрерывно, как будто все, что ни было потом, случилось не далее как вчера. Правда, я могу как будто во сне припомнить что-то и раньше: всегда затепленную лампаду в темном углу, у старинного образа; потом как меня однажды сшибла на улице лошадь, отчего, как мне после рассказывали, я пролежала больная три месяца; еще как во время этой болезни, ночью, проснулась я подле матушки, с которой лежала вместе, как я вдруг испугалась моих болезненных сновидений, ночной тишины и скребшихся в углу мышей и дрожала от страха всю ночь, забиваясь под одеяло, но не смея будить матушку, из чего и заключаю, что ее я боялась больше всякого страха. Но с той минуты, когда я вдруг начала сознавать себя, я развилась быстро, неожиданно, и много совершенно недетских впечатлений стали для меня как-то страшно доступны. Все прояснялось передо мной, все чрезвычайно скоро становилось понятным. Время, с которого я начинаю себя хорошо помнить, оставило во мне резкое и грустное впечатление; это впечатление повторялось потом каждый день и росло с каждым днем; оно набросило темный и странный колорит на все время житья моего у родителей, а вместе с тем – и на все мое детство.

Теперь мне кажется, что я очнулась вдруг, как будто от глубокого сна (хотя тогда это, разумеется, не было для меня так поразительно). Я очутилась в большой комнате с низким потолком, душной и нечистой. Стены были окрашены грязновато-серою краскою; в углу стояла огромная русская печь; окна выходили на улицу или, лучше сказать, на кровлю противоположного дома и были низенькие, широкие, словно щели. Подоконники приходились так высоко от полу, что я помню, как мне нужно было подставлять стул, скамейку и потом уже кое-как добираться до окна, на котором я любила сидеть, когда никого не было дома. Из нашей квартиры было видно полгорода; мы жили под самой кровлей в шестиэтажном, огромнейшем доме. Вся наша мебель состояла из какого-то остатка клеенчатого дивана, всего в пыли и в мочалах, простого белого стола, двух стульев, матушкиной постели, шкафика с чем-то в углу, комода, который всегда стоял, покачнувшись набок, и разодранных бумажных ширм.

Помню, что были сумерки; все было в беспорядке и разбросано: щетки, какие-то тряпки, наша деревянная посуда, разбитая бутылка и не знаю что-то такое еще. Помню, что матушка была чрезвычайно взволнована и отчего-то плакала. Отчим сидел в углу в своем всегдашнем изодранном сюртуке. Он отвечал ей что-то с усмешкой, что рассердило ее еще более, и тогда опять полетели на пол щетки и посуда. Я заплакала, закричала и бросилась к ним обоим. Я была в ужасном испуге и крепко обняла батюшку, чтоб заслонить его собою. Бог знает отчего показалось мне, что матушка на него напрасно сердится, что он не виноват; мне хотелось просить за него прощения, вынести за него какое угодно наказание. Я ужасно боялась матушки и предполагала, что и все так же боятся ее. Матушка сначала изумилась, потом схватила меня за руку и оттащила за ширмы. Я ушибла о кровать руку довольно больно; но испуг был сильнее боли, и я даже не поморщилась. Помню еще, что матушка начала что-то горько и горячо говорить отцу, указывая на меня (я буду и вперед в этом рассказе называть его отцом, потому что уже гораздо после узнала, что он мне не родной). Вся эта сцена продолжалась часа два, и я, дрожа от ожидания, старалась всеми силами угадать, чем все это кончится. Наконец ссора утихла, и матушка куда-то ушла. Тут батюшка позвал меня, поцеловал, погладил по голове, посадил на колени, и я крепко, сладко прижалась к груди его. Это была, может быть, первая ласка родительская, может быть, оттого-то и я начала все так отчетливо помнить с того времени. Я заметила тоже, что заслужила милость отца за то, что за него заступилась, и тут, кажется в первый раз, меня

поразила идея, что он много терпит и выносит горя от матушки. С тех пор эта идея осталась при мне навсегда и с каждым днем все более и более возмущала меня.

С этой минуты началась во мне какая-то безграничная любовь к отцу, но чудная любовь, как будто вовсе не детская. Я бы сказала, что это было скорее какое-то сострадательное, *материнское* чувство, если бы такое определение любви моей не было немного смешно для дитяти. Отец казался мне всегда до того жалким, до того терпящим гонения, до того задавленным, до того страдальцем, что для меня было страшным, неестественным делом не любить его без памяти, не утешать его, не ласкаться к нему, не стараться об нем всеми силами. Но до сих пор не понимаю, почему именно могло войти мне в голову, что отец мой такой страдалец, такой несчастный человек в мире! Кто мне внушил это? Каким образом я, ребенок, могла хоть что-нибудь понять в его личных неудачах? А я их понимала, хотя перетолковав, переделав все в моем воображении по-своему; но до сих пор не могу представить себе, каким образом составилось во мне такое впечатление. Может быть, матушка была слишком строга ко мне, и я привязалась к отцу как к существу, которое, по моему мнению, страдает вместе со мною, заодно.

Я уже рассказала первое пробуждение мое от младенческого сна, первое движение мое в жизни. Сердце мое было уязвлено с первого мгновения, и с непостижимою, утомляющею быстротой началось мое развитие. Я уже не могла довольствоваться одними внешними впечатлениями. Я начала думать, рассуждать, наблюдать; но это наблюдение произошло так неестественно рано, что воображение мое не могло не переделывать всего по-своему, и я вдруг очутилась в каком-то особенном мире. Все вокруг меня стало походить на ту волшебную сказку, которую часто рассказывал мне отец и которую я не могла не принять, в то время, за чистую истину. Родились странные понятия. Я очень хорошо узнала, – но не знаю, как это сделалось, – что живу в странном семействе и что родители мои как-то вовсе не похожи на тех людей, которых мне случалось встречать в это время. «Отчего, – думала я, – отчего я вижу других людей, как-то и с виду непохожих на моих родителей? отчего я замечала смех на других лицах и отчего меня тут же поражало то, что в нашем углу никогда не смеются, никогда не радуются?» Какая сила, какая причина заставила меня, девятилетнего ребенка, так прилежно осматриваться и вслушиваться в каждое слово тех людей, которых мне случалось встречать или на нашей лестнице, или на улице, когда я по вечеру, прикрыв свои лохмотья старой матушкиной кацавейкой, шла в лавочку с медными деньгами купить на несколько грошей сахару, чаю или хлеба? Я поняла, и уж не помню как, что в нашем углу – какое-то вечное, нестерпимое горе. Я ломала голову, стараясь угадать, почему это так, и не знаю, кто мне помог разгадать все это по-своему: я обвинила матушку, признала ее за злодейку моего отца, и опять говорю: не понимаю, как такое чудовищное понятие могло составиться в моем воображении. И насколько я привязалась к отцу, настолько возненавидела мою бедную мать. До сих пор воспоминание обо всем этом глубоко и горько терзает меня. Но вот другой случай, который еще более, чем первый, способствовал моему странному сближению с отцом. Раз, в десятом часу вечера, матушка послала меня в лавочку за дрожжами, а батюшки не было дома. Возвращаясь, я упала на улице и пролила всю чашку. Первая моя мысль была о том, как рассердится матушка. Между тем я чувствовала ужасную боль в левой руке и не могла встать. Кругом меня остановились прохожие; какая-то старушка начала меня поднимать, а какой-то мальчик, пробежавший мимо, ударил меня ключом в голову. Наконец меня поставили на ноги, я подобрала черепки разбитой чашки и пошла, шатаясь едва передвигая ноги. Вдруг я увидела батюшку. Он стоял в толпе перед богатым домом, который был против нашего. Этот дом принадлежал каким-то знатным людям и был великолепно освещен; у крыльца съехалось множество карет, и звуки музыки долетали из окон на улицу. Я схватила батюшку за полу сюртука, показала ему разбитую чашку и, заплакав, начала говорить, что боюсь идти к матушке. Я как-то была уверена, что он заступится за меня. Но почему я была уверена, кто подсказал мне, кто научил меня, что он меня любит более, чем матушка? Отчего к нему я подошла без страха? Он взял меня за руку, начал утешать, потом сказал, что хочет мне что-то показать, и приподнял меня на руках. Я

ничего не могла видеть, потому что он схватил меня за ушибленную руку и мне стало ужасно больно; но я не закричала, боясь огорчить его. Он все спрашивал, вижу ли я что-нибудь? Я всеми силами старалась отвечать в угодку ему и отвечала, что вижу красные занавесы. Когда же он хотел перенести меня на другую сторону улицы, ближе к дому, то, не знаю отчего, вдруг начала я плакать, обнимать его и проситься скорее наверх, к матушке. Я помню, что мне тяжелее были тогда ласки батюшки, и я не могла вынести того, что один из тех, кого я так хотела любить, – ласкает и любит меня и что к другой я не смела и боялась идти. Но матушка почти совсем не сердилась и отослала меня спать. Я помню, что боль в руке, усиливаясь все более и более, нагнала на меня лихорадку. Однако ж я была как-то особенно счастлива тем, что все так благополучно кончилось, и всю эту ночь мне снился соседний дом с красными занавесами.

И вот когда я проснулась на другой день, первую мыслью, первую заботою моею был дом с красными занавесами. Только что матушка вышла со двора, я вскарабкалась на окошко и начала смотреть на него. Уже давно этот дом поразил мое детское любопытство. Особенно я любила смотреть на него ввечеру, когда на улице зажигались огни и когда начинали блестеть каким-то кровавым, особенным блеском красные, как пурпур, гардины за цельными стеклами ярко освещенного дома. К крыльцу почти всегда подъезжали богатые экипажи на прекрасных, гордых лошадях, и все завлекало мое любопытство: и крик, и суматоха у подъезда, и разноцветные фонари карет, и разряженные женщины, которые приезжали в них. Все это в моем детском воображении принимало вид чего-то царственно-пышного и сказочно-волшебного. Теперь же, после встречи с отцом у богатого дома, дом сделался для меня вдвое чудеснее и любопытнее. Теперь в моем пораженном воображении начали рождаться какие-то чудные понятия и предположения. И я не удивляюсь, что среди таких странных людей, как отец и мать, я сама сделалась таким странным, фантастическим ребенком. Меня как-то особенно поражал контраст их характеров. Меня поражало, например, то, что матушка вечно заботилась и хлопотала о нашем бедном хозяйстве, вечно попрекала отца, что она одна за всех труженица, и я невольно задавала себе вопрос: почему же батюшка совсем не помогает ей, почему же он как будто чужой живет в нашем доме? Несколько матушкиных слов дало мне об этом понятие, и я с каким-то удивлением узнала, что батюшка артист (это слово я удержала в памяти), что батюшка человек с талантом; в моем воображении тотчас же сложилось понятие, что артист какой-то особенный человек, непохожий на других людей. Может быть, самое поведение отца навело меня на эту мысль; может быть, я слышала что-нибудь, что теперь вышло из моей памяти; но как-то странно понятен был для меня смысл слов отца, когда он сказал их один раз при мне с каким-то особенным чувством. Эти слова были, что «придет время, когда и он не будет в нищете, когда он сам будет барин и богатый человек, и что, наконец, он воскреснет снова, когда умрет матушка». Помню, я сначала испугалась этих слов до крайности. Я не могла оставаться в комнате, выбежала в наши холодные сени и там, облокотясь, на окно и закрыв руками лицо, зарыдала. Но потом, когда я поминутно раздумывала об этом, когда я свыклась с этим ужасным желанием отца, – фантазия вдруг пришла мне на помощь. Да я и сама не могла долго мучиться неизвестностью и должна была непременно остановиться на каком-нибудь предположении. И вот, – не знаю, как началось это все сначала, – но под конец я остановилась на том, что, когда умрет матушка, батюшка оставит эту скучную квартиру и уйдет куда-то вместе со мною. Но куда? – я до самого последнего времени не могла себе ясно представить. Помню только, что все, чем могла я украсить то место, куда мы пойдем с ним (а я непременно решила, что мы пойдем вместе), все, что только могло создаться блестящего, пышного и великолепного в моей фантазии, – все было приведено в действие в этих мечтаниях. Мне казалось, что мы тотчас же станем богаты; я не буду ходить на посылках в лавочку, что было очень тяжело для меня, потому что меня всегда обижали дети соседнего дома, когда я выходила из дому, и этого я ужасно боялась, особенно когда несла молоко или масло, зная, что если пролью, то с меня строго взыщется; потом я порешила, мечтая, что батюшка тотчас сошьет себе хорошее платье, что мы поселимся в блестящем

доме, и вот теперь – этот богатый дом с красными занавесами и встреча возле него с батюшкою, который хотел мне что-то показать в нем, пришли на помощь моему воображению. И тотчас же сложилось в моих догадках, что мы переселимся именно в этот дом и будем в нем жить в каком-то вечном празднике и вечном блаженстве. С этих пор, по вечерам, я с напряженным любопытством смотрела из окна на этот волшебный для меня дом, припоминала съезд, припоминала гостей, таких нарядных, каких я никогда еще не видала; мне чудились эти звуки сладкой музыки, вылетающие из окон; я всматривалась в тени людей, мелькавшие на занавесах окон, и все старалась угадать, что такое там делается, – и все казалось мне, что там рай и всегдашний праздник. Я возненавидела наше бедное жилище, лохмотья, в которых сама ходила, и когда однажды матушка закричала на меня и приказала сойти с окна, на которое я забралась по обыкновению, то мне тотчас же пришло на ум, что она хочет, чтоб я не смотрела именно на этот дом, чтоб я не думала об нем, что ей неприятно наше счастье, что она хочет помешать ему и в этот раз... Целый вечер я внимательно и подозрительно смотрела на матушку.

И как могла родиться во мне такая ожесточенность к такому вечно страдавшему существу, как матушка? Только теперь понимаю я ее страдальческую жизнь и без боли в сердце не могу вспомнить об этой мученице. Даже и тогда, в темную эпоху моего чудного детства, в эпоху такого неестественного развития моей первой жизни, часто сжималось мое сердце от боли и жалости, – и тревоги, смущение и сомнение западали в мою душу. Уже и тогда совесть восставала во мне, и часто, с мучением и страданием, я чувствовала несправедливость свою к матушке. Но мы как-то чуждались друг друга, и не помню, чтоб я хоть раз приласкалась к ней. Теперь часто самые ничтожные воспоминания язвят и потрясают мою душу. Раз, помню (конечно, что я расскажу теперь, ничтожно мелко, грубо, но именно такие воспоминания как-то особенно терзают меня и мучительнее всего напечатлелись в моей памяти), – раз, в один вечер, когда отца не было дома, матушка стала посылать меня в лавочку купить ей чаю и сахару. Но она все раздумывала и все не решалась и вслух считала медные деньги, – жалкую сумму, которою могла располагать. Она считала, а думаю, с полчаса и все не могла окончить расчетов. К тому же в иные минуты, вероятно от горя, она впадала в какое-то бессмыслие. Как теперь помню, она все что-то приговаривала, считая, тихо, размеренно, как будто роняя слова ненарочно; губы и щеки ее были бледны, руки всегда дрожали, и она всегда качала головою, когда рассуждала наедине.

– Нет, не нужно, – сказала она, поглядев на меня, – я лучше спать лягу. А? хочешь ты спать, Неточка?

Я молчала; тут она приподняла мою голову и посмотрела на меня так тихо, так ласково, лицо ее прояснело и озарилось такою материнскою улыбкой, что все сердце заняло во мне и крепко забилося. К тому же она меня назвала Неточкой, что значило, что в эту минуту она особенно любит меня. Это название она изобрела сама, любовно переделав мое имя, Анна, в уменьшительное Неточка, и когда она называла меня так, то значило, что ей хотелось приласкать меня. Я была тронута; мне хотелось обнять ее, прижаться к ней и заплакать с нею вместе. Она, бедная, долго гладила меня потом по голове, – может быть, уже машинально и позабыв, что ласкает меня, и все приговаривала: «Дитя мое, Аннета, Неточка!» Слезы рвались из глаз моих, но я крепилась и удерживалась. Я как-то упорствовала, не выказывая перед ней моего чувства, хотя сама мучилась. Да, это не могло быть естественным ожесточением во мне. Она не могла так возбудить меня против себя единственно только строгостью своею со мною. Нет! меня испортила фантастическая, исключительная любовь моя к отцу. Иногда я просыпалась по ночам, в углу, на своей коротенькой подстилке, под холодным одеялом, и мне всегда становилось чего-то страшно. Впросонках я вспоминала о том, как еще недавно, когда я была поменьше, спала вместе с матушкой и меньше боялась проснуться ночью: стоило только прижаться к ней, зажмурить глаза и крепче обнять ее – и тотчас, бывало, заснешь. Я все еще чувствовала, что как-то не могла не любить ее потихоньку. Я заметила потом, что и многие дети часто бывают уродливо бесчувственны и если полюбят кого, то любят исключительно. Так было и со мною.

Иногда в нашем углу наступала мертвая тишина на целые недели. Отец и мать уставали ссориться, и я жила между ними по-прежнему, все молча, все думая, все тоскуя и все чего-то добиваясь в мечтах моих. Приглядываясь к ним обоим, я поняла вполне их взаимные отношения друг к другу: я поняла эту глухую, вечную вражду их, поняла все это горе и весь этот чад беспорядочной жизни, которая утеснилась в нашем углу, – конечно, поняла без причин и следствий, поняла настолько, насколько понять могла. Бывало, в длинные зимние вечера, забившись куда-нибудь в угол, я по целым часам жадно следила за ними, всматривалась в лицо отца и все старалась догадаться, о чем он думает, что так занимает его. Потом меня поражала и пугала матушка. Она все ходила, не уставая, взад и вперед по комнате по целым часам, часто даже и ночью, во время бессонницы, которую мучилась, ходила, что-то шепча про себя, как будто была одна в комнате, то разводя руками, то скрестив их у себя на груди, то ломая их в какой-то страшной, неистощимой тоске. Иногда слезы струились у ней по лицу, слезы, которых она часто и сама, может быть, не понимала, потому что по временам впадала в забытие. У ней была какая-то очень трудная болезнь, которую она совершенно пренебрегала.

Я помню, что мне все тягостнее и тягостнее становилось мое одиночество и молчание, которого я не смела прервать. Уже целый год жила я сознательно жизнью, все думая, мечтая и мучась потихоньку неведомыми, неясными стремлениями, которые зарождались во мне. Я дичала, как будто в лесу. Наконец батюшка первым заметил меня, подозвал к себе и спросил, зачем я так пристально гляжу на него. Не помню, что я ему отвечала: помню, что он об чем-то задумался и наконец сказал, поглядев на меня, что завтра же принесет азбуку и начнет учить меня читать. Я с нетерпением ожидала этой азбуки и промечтала всю ночь, неясно понимая, что такое эта азбука. Наконец, на другой день, отец действительно начал учить меня. Поняв с двух слов, чего от меня требовали, я выучила скоро и быстро, ибо знала, что этим угожу ему. Это было самое счастливое время моей тогдашней жизни. Когда он хвалил меня за понятливость, гладил по голове и целовал, я тотчас же начинала плакать от восторга. Мало-помалу отец полюбил меня; я уже осмеливалась заговаривать с ним, и часто мы говорили с ним целые часы, не уставая, хотя я иногда не понимала ни слова из того, что он мне говорил. Но я как-то боялась его, боялась, чтоб он не подумал, что мне с ним скучно, и потому всеми силами старалась показать ему, что все понимаю. Сидеть со мною по вечерам обратилось у него наконец в привычку. Как только начинало смеркаться и он возвращался домой, я тотчас же подходила к нему с азбукой. Он сажал меня против себя на скамейку и после урока начинал читать какую-то книжку. Я ничего не понимала, но хохотала без умолку, думая доставить ему этим большое удовольствие. Действительно, я занимала его и ему было весело смотреть на мой смех. В это же время он однажды после урока начал мне рассказывать сказку. Это была первая сказка, которую мне пришлось слышать. Я сидела как зачарованная, горела в нетерпении, следя за рассказом, переносилась в какой-то рай, слушая его, и к концу рассказа была в полном восторге. Не то чтоб так действовала на меня сказка, – нет, но я все брала за истину, тут же давала волю своей богатой фантазии и тотчас же смешивала с вымыслом действительность. Тотчас являлся в воображении моем и дом с красными занавесами; тут же, неизвестно каким образом, являлся как действующее лицо и отец, который сам же мне рассказывал эту сказку, и матушка, мешавшая нам обоим идти неизвестно куда, наконец, – или, лучше сказать, прежде всего – я, с своими чудными мечтами, с своей фантастической головой, полной дикими, невозможными призраками, – все это до того перемешалось в уме моем, что вскоре составило самый безобразный хаос, и я некоторое время потеряла всякий такт, всякое чутье настоящего, действительного и жила бог знает где. В это время я умирала от нетерпения заговорить с отцом о том, что ожидает нас впереди, чего такого он сам ожидает и куда поведет меня вместе с собою, когда мы оставим наконец наш чердак. Я была уверена, с своей стороны, что все это как-то скоро совершится, но как и в каком виде все это будет – не знала и только мучила себя, ломая над этим голову. Порой – и случалось это особенно по вечерам – мне казалось, что батюшка вот-вот тотчас мигнет мне украдкой, вызовет меня в сени; я, мимоходом, потихоньку от матушки, захвачу

свою азбуку и еще нашу картину, какую-то дрянную литографию, которая с незапамятных времен висела без рамки на стене и которую я решила непременно взять с собою, и мы куда-нибудь убежим потихоньку, так что уж никогда более не воротимся домой к матушке. Однажды, когда матушки не было дома, я выбрала минуту, когда отец был особенно весел, – а это случалось с ним, когда он чуть-чуть выпьет вина, – под села к нему и заговорила о чем-то в намерении тотчас свернуть разговор на мою заветную тему. Наконец я добилась, что он засмеялся, и я, крепко обняв его, с трепещущим сердцем, совсем испугавшись, как будто приготавлилась говорить о чем-то таинственном и страшном, начала, бессвязно и путаясь на каждом шагу, расспрашивать его: куда мы пойдем, скоро ли, что возьмем с собою, как будем жить и, наконец, пойдем ли мы в дом с красными занавесами?

– Дом? красные занавесы? что такое? О чем ты бредишь, глупая?

Тогда я, испугавшись больше прежнего, начала ему объяснять, что когда умрет матушка, то мы уже не будем больше жить на чердаке, что он куда-то поведет меня, что мы оба будем богаты и счастливы, и уверяла его, наконец, что он сам мне обещал все это. Уверяя его, я была совершенно уверена, что действительно отец мой говорил об этом прежде, по крайней мере мне это так казалось.

– Мать? Умерла? Когда умрет мать? – повторял он, смотря на меня в изумлении, нахмурия свои густые с проседью брови и немного изменившись в лице. – Что ты это говоришь, бедная, глупая...

Тут он начал бранить меня и долго говорил мне, что я глупый ребенок, что я ничего не понимаю... и не помню, что еще, но только он был очень огорчен.

Я не поняла ни слова из его упреков, не поняла, как больно было ему, что я вслушалась в его слова, сказанные матушке в гневе и глубокой тоске, заучила их и уже много думала о них про себя. Каков он ни был тогда, как ни было сильно его собственное сумасбродство, но все это, естественно, должно было поразить его. Однако ж, хоть я совсем не понимала, за что он сердит, мне стало ужасно горько и грустно; я заплакала; мне показалось, что все, нас ожидавшее, было так важно, что я, глупый ребенок, не смела ни говорить, ни думать об этом. Кроме того, хоть я и не поняла его с первого слова, однако почувствовала, хотя и темным образом, что я обидела матушку. На меня напал страх и ужас, и сомнения закрались в душу. Тогда он, видя, что я плачу и мучусь, начал утешать меня, отер мне рукавом слезы и велел мне не плакать. Однако мы оба просидели несколько времени молча; он нахмурился и, казалось, о чем-то раздумывал; потом снова начал мне говорить; но как я ни напрягала внимание – все, что он ни говорил, казалось мне чрезвычайно неясным. По некоторым словам этого разговора, которые я до сих пор упомянула, заключаю, что он объяснял мне, кто он такой, какой он великий артист, как его никто не понимает и что он человек с большим талантом. Помню еще, что, спросив, поняла ли я, и, разумеется, получив ответ удовлетворительный, он заставил меня повторить: с талантом ли он? Я отвечала: «с талантом», на что он слегка усмехнулся, потому что, может быть, к концу ему самому стало смешно, что он заговорил о таком серьезном для него предмете со мною. Разговор наш прервал своим приходом Карл Федорыч, и я засмеялась и развеселилась совсем, когда батюшка, указав на него, сказал мне:

– А вот так у Карла Федорыча нет ни на копейку таланта.

Этот Карл Федорович был презанимательное лицо. Я так мало видела людей в ту пору моей жизни, что никак не могла позабыть его. Как теперь представляю его себе: он был немец, по фамилии Мейер, родом из Германии, и приехал в Россию с чрезвычайным желанием поступить в петербургскую балетную труппу. Но танцор он был очень плохой, так что его даже не могли принять в фигуранты и употребляли в театре для выходов. Он играл разные безмолвные роли в свите Фортинбраса или был один из тех рыцарей Вероны, которые все разом, в числе двадцати человек, поднимают вверх картонные кинжалы и кричат: «Умрем за короля!» Но, уж верно, не было ни одного актера на свете, так страстно преданного своим ролям, как этот Карл Федорыч. Самым же страшным несчастьем и горем всей его жизни было то, что он не попал в балет. Балетное искусство он ставил выше всякого

искусства на свете и в своем роде был столько же привязан к нему, как батюшка к скрипке. Они сошлись с батюшкой, когда еще служили в театре, и с тех пор отставной фигурант не оставлял его. Оба виделись очень часто, и оба оплакивали свой пагубный жребий и то, что они не узнаны людьми. Немец был самый чувствительный, самый нежный человек в мире и питал к моему отчиму самую пламенную, бескорыстную дружбу; но батюшка, кажется, не имел к нему никакой особенной привязанности и только терпел его в числе знакомых, за неимением кого другого. Сверх того, батюшка никак не мог понять в своей исключительности, что балетное искусство – тоже искусство, чем обижал бедного немца до слез. Зная его слабую струнку, он всегда задевал ее и смеялся над несчастным Карлом Федоровичем, когда тот горячился и выходил из себя, доказывая противное. Многие я слышала потом об этом Карле Федоровиче от Б., который называл его нюрнбергским щелкуном. Б. рассказал очень многое о дружбе его с отцом; между прочим, что они не раз сходились вместе и выпив немного, начинали вместе плакать о своей судьбе, о том, что они не узнаны. Я помню эти сходки, помню тоже, что и я, смотря на обоих чудаков, тоже, бывало, расхныкаюсь, сама не зная о чем. Это случалось всегда, когда матушки не бывало дома: немец ужасно боялся ее и всегда, бывало, постоит наперед в сенях, дождетя, покамест кто-нибудь выйдет, а если узнает, что матушка дома, тотчас же побежит вниз по лестнице. Он всегда приносил с собой какие-то немецкие стихи, воспалялся, читая их вслух нам обоим, и потом декламировал их, переводя ломаным языком по-русски для нашего уразумения. Это очень веселило батюшку, а я, бывало, хохотала до слез. Но раз они оба достали какое-то русское сочинение, которое чрезвычайно воспламенило их обоих, так что потом они уже почти всегда, сходясь вместе, читали его. Помню, что это была драма в стихах какого-то знаменитого русского сочинителя. Я так хорошо затвердила первые строки этой книги, что потом, уже через несколько лет, когда она случайно попала в руки, узнала ее без труда. В этой драме толковалось о несчастьях одного великого художника, какого-то Дженаро или Джакобо, который на одной странице кричал: «Я не признан!», а на другой: «Я признан!», или: «Я бесталантен!», и потом, через несколько строк: «Я с талантом!» Все оканчивалось очень плачевно. Эта драма была, конечно, чрезвычайно пошлое сочинение; но вот чудо – она самым наивным и трагическим образом действовала на обоих читателей, которые находили в главном герое много сходства с собою. Помню, что Карл Федорович иногда до того воспалялся, что вскакивал с места, отбегал в противоположный угол комнаты и просил батюшку и меня, которую называл «мадмуазель», неотступно, убедительно, со слезами на глазах, тут же на месте рассудить его с судьбой и с публикой. Тут он немедленно принимался танцевать и, выделявая разные па, кричал нам, чтоб мы ему немедленно сказали, что он такое – артист или нет, и что можно ли сказать противное, то есть что он без таланта? Батюшка тотчас же развеселялся, мигал мне исподтишка, как будто предупреждая, что вот он сейчас презабавно посмеется над немцем. Мне становилось ужасно смешно, но батюшка грозил рукою, и я крепилась, задыхаясь от смеху. Я даже и теперь, при одном воспоминании, не могу не смеяться. Как теперь вижу этого бедного Карла Федоровича. Он был премаленького роста, чрезвычайно тоненький, уже седой, с горбатым красным носом, запачканным табаком, и с преуродливыми кривыми ногами; но, несмотря на то, он как будто хвалился устройством их и носил панталоны в обтяжку. Когда он останавливался, с последним прыжком, в позицию, простирая к нам руки и улыбаясь нам, как улыбаются на сцене танцовщики по окончании па, батюшка несколько мгновений хранил молчание, как бы не решаясь произнести суждение, и нарочно оставлял непризнанного танцовщика в позиции, так что тот колыбался из стороны в сторону на одной ноге, всеми силами стараясь сохранить равновесие. Наконец батюшка с пресерьезною миною взглядывал на меня, как бы приглашая быть беспристрастною свидетельницей суждения, а вместе с тем устремлялись на меня и робкие, молящие взгляды танцовщика.

– Нет, Карл Федорыч, никак не потрафишь! – говорил наконец батюшка, притворяясь, что ему самому неприятно высказывать горькую истину. Тогда из груди Карла Федорыча вырывалось настоящее стенание; но вмиг он ободрялся, ускоренными жестами снова просил

внимания, уверял, что танцевал не по той системе, и умолял нас рассудить еще раз. Потом он снова отбегал в другой угол и иногда прыгал так усердно, что головой касался потолка и больно ушибался, но, как спартанец, геройски выдерживал боль, снова останавливался в позитуре, снова с улыбкою простира к нам дрожащие руки и снова просил решения судьбы своей. Но батюшка был неумолим и по-прежнему угрюмо отвечал:

– Нет, Карл Федорыч, видно – судьба твоя: никак не потрафишь!

Тут уж я более не выдерживала и покатывалась со смеху, а за мною батюшка. Карл Федорыч замечал наконец насмешку, краснел от негодования и, со слезами на глазах, с глубоким, хотя и комическим чувством, но которое заставляло меня потом мучиться за него, несчастного, говорил батюшке:

– Ты виrolёмный друк!

Потом он схватывал шляпу и выбегал от нас, клянясь всем на свете не приходить никогда. Но ссоры эти были непродолжительны; через несколько дней он снова являлся у нас, снова начиналось чтение знаменитой драмы, снова проливались слезы, и потом снова наивный Карл Федорыч просил нас рассудить его с людьми и с судьбою, только умоляя на этот раз уже судить серьезно, как следует истинным друзьям, а не смеяться над ним.

Раз матушка послала меня в лавочку за какой-то покупкой, и я возвращалась, бережно неся мелкую серебряную монету, которую мне сдали. Входя на лестницу, я повстречалась с отцом, который выходил со двора. Я засмеялась ему, потому что не могла удержать своего чувства, когда его видела, и он, нагибаясь поцеловать меня, заметил в моей руке серебряную монету... Я позабыла сказать, что я так приучилась к выражению лица его, что тотчас же, с первого взгляда, узнавала почти всякое его желание. Когда он был грустен, я разрывалась от тоски. Всего же чаще и сильнее скучал он, когда у него совершенно не было денег и когда он не мог поэтому выпить ни капли вина, к которому сделал привычку. Но в эту минуту, когда я с ним повстречалась на лестнице, мне показалось, что в нем происходит что-то особенное. Помутившиеся глаза его блуждали; с первого раза он не заметил меня; но когда он увидел в моих руках блеснувшую монету, то вдруг покраснел, потом побледнел, протянул было руку, чтоб взять у меня деньги, и тотчас же отдернул ее назад. Очевидно, в нем происходила борьба. Наконец он как будто осилил себя, приказал мне идти наверх, сошел несколько ступеней вниз, но вдруг остановился и торопливо кликнул меня.

Он был очень смущен.

– Послушай, Неточка, – сказал он, – дай мне эти деньги, я тебе их назад принесу. А? ты ведь дашь их папе? ты ведь добренькая, Неточка?

Я как будто предчувствовала это. Но в первое мгновение мысль о том, как рассердится матушка, робость и более всего инстинктивный стыд за себя и за отца удерживали меня отдать деньги. Он мигом заметил это и поспешно сказал:

– Ну, не нужно, не нужно!..

– Нет, нет, папа, возьми; я скажу, что потеряла, что у меня отняли соседские дети.

– Ну, хорошо, хорошо; ведь я знал, что ты умная девочка, – сказал он, улыбаясь дрожащими губами и не скрывая более своего восторга, когда почувствовал деньги в руках. – Ты добрая девочка, ты ангельчик мой! Вот дай тебе я ручку поцелую!

Тут он схватил мою руку и хотел поцеловать, но я быстро отдернула ее. Какая-то жалость овладела мною, и стыд все больше начинал меня мучить. Я побежала наверх в каком-то испуге, бросив отца и не простившись с ним. Когда я вошла в комнату, щеки мои разгорелись и сердце билось от какого-то томительного и мне неведомого доселе ощущения. Однако я смело сказала матушке, что уронила деньги в снег и не могла их сыскать. Я ожидала по крайней мере побой, но этого не случилось. Матушка действительно была сначала вне себя от огорчения, потому что мы были ужасно бедны. Она закричала на меня, но тотчас же как будто одумалась и перестала бранить меня, заметив только, что я неловкая, нерадивая девочка и что я, видно, мало люблю ее, когда так худо смотрю за ее добром. Это замечание огорчило меня более, нежели когда бы я вынесла побои. Но матушка уже знала меня. Она уже заметила мою чувствительность, доходившую часто до болезненной

раздражительности, и горькими упреками в нелюбви думала сильнее поразить меня и заставить быть осторожнее на будущее время.

В сумерки, когда должно было воротиться батюшке, я, по обыкновению, дожидалась его в снях. В этот раз я была в большом смущении. Чувства мои были возмущены чем-то болезненно терзавшим совесть мою. Наконец отец воротился, и я очень обрадовалась его приходу, как будто думала, что от этого мне станет легче. Он был уже навеселе, но, увидев меня, тотчас же принял таинственный, смущенный вид и, отведя меня в угол, робко взглядывая на нашу дверь, вынул из кармана купленный им пряник и начал шепотом наказывать мне, чтоб я более никогда не смела брать денег и таить их от матушки, что это дурно и стыдно и очень нехорошо; теперь это сделалось потому, что деньги очень понадобились папе, но он отдаст, и я могу сказать потом, что нашла деньги, а у мамы брать стыдно, и чтоб я вперед отнюдь не думала, а он мне за это, если я вперед буду слушаться, еще пряников купит; наконец, он даже прибавил, чтоб я пожалела маму, что мама такая больная, бедная, что она одна на нас всех работает. Я слушала в страхе, дрожа всем телом, и слезы теснились из глаз моих. Я была так поражена, что не могла слова сказать, не могла двинуться с места. Наконец он вошел в комнату, приказал мне не плакать и не рассказывать ничего об этом матушке. Я заметила, что он и сам был ужасно смущен. Весь вечер была я в каком-то ужасе и первый раз не смела глядеть на отца и не подходила к нему. Он тоже, видимо, избегал моих взглядов. Матушка ходила взад и вперед по комнате и говорила что-то про себя, как бы в забытии, по своему обыкновению. В этот день ей было хуже и с ней сделался какой-то припадок. Наконец, от внутреннего страдания у меня началась лихорадка. Когда настала ночь, я не могла заснуть. Болезненные сновидения мучили меня. Наконец я не могла вынести и начала горько плакать. Рыдания мои разбудили матушку; она окликнула меня и спросила, что со мною. Я не отвечала, но еще горче заплакала. Тогда она засветила свечку, подошла ко мне и начала меня успокаивать, думая, что я испугалась чего-нибудь во сне. «Эх ты, глупенькая девушка! – сказала она, – до сих пор еще плачешь, когда тебе что-нибудь приснится. Ну, полно же!» И тут она поцеловала меня, сказав, чтоб я шла спать к ней. Но я не хотела, я не смела обнять ее и идти к ней. Я терзалась в невообразимых мучениях. Мне хотелось ей все рассказать. Я уже было начала, но мысль о батюшке и его запрете остановила меня. «Экая ты бедненькая, Неточка! – сказала матушка, укладывая меня на постель и укутывая своим старым салопом, ибо заметила, что я вся дрожу в лихорадочном ознобе, – ты, верно, будешь такая же больная, как я!» Тут она так грустно посмотрела на меня, что я не могла вынести ее взгляда, зажмурилась и отворотилась. Не помню, как я заснула, но еще впросонках долго слышала, как бедная матушка уговаривала меня на грядущий сон. Никогда еще я не выносила более тяжелой муки. Сердце у меня стеснялось до боли. На другой день поутру мне стало легче. Я заговорила с батюшкой, не поминая о вчерашнем, ибо догадывалась заранее, что это будет ему очень приятно. Он тотчас же развеселился, потому что и сам все хмурился, когда глядел на меня. Теперь же какая-то радость, какое-то почти детское довольство овладело им при моем веселом виде. Скоро матушка пошла со двора, и он уже более не удерживался. Он начал меня целовать так, что я была в каком-то истерическом восторге, смеялась и плакала вместе. Наконец, он сказал, что хочет показать мне что-то очень хорошее и что я буду очень рада видеть, за то, что я такая умненькая и добренькая девочка. Тут он расстегнул жилетку и вынул ключ, который у него висел на шее, на черном снурке. Потом, таинственно взглядывая на меня, как будто желая прочесть в глазах моих все удовольствие, которое я, по его мнению, должна была ощущать, отворил сундук и бережно вынул из него странной формы черный ящик, которого я до сих пор никогда у него не видала. Он взял этот ящик с какою-то робостью и весь изменился: смех исчез с лица его, которое вдруг приняло какое-то торжественное выражение. Наконец, он отворил таинственный ящик ключиком и вынул из него какую-то вещь, которой я до тех пор никогда не видывала, – вещь, на взгляд очень странной формы. Он бережно и с благоговением взял ее в руки и сказал, что это его скрипка, его инструмент. Тут он начал мне что-то много говорить тихим, торжественным голосом; но я не понимала его и только

удержала в памяти уже известное мне выражение, – что он артист, что он с талантом, – что потом он когда-нибудь будет играть на скрипке и что, наконец, мы все будем богаты и добьемся какого-то большого счастья. Слезы навернулись на глазах его и потекли по щекам. Я была очень растрогана. Наконец, он поцеловал скрипку и дал ее поцеловать мне. Видя, что мне хочется осмотреть ее ближе, он повел меня к матушкиной постели и дал мне скрипку в руки; но я видела, как он весь дрожал от страха, чтоб я как-нибудь не разбила ее. Я взяла скрипку в руки и дотронулась до струн, которые издали слабый звук.

– Это музыка! – сказала я, поглядев на батюшку.

– Да, да, музыка, – повторил он, радостно потирая руки, – ты умное дитя, ты доброе дитя! – Но, несмотря на похвалы и восторг его, я видела, что он боялся за свою скрипку, и меня тоже взял страх, – я поскорей отдала ее. Скрипка с теми же предосторожностями была уложена в ящик, ящик был заперт и положен в сундук; батюшка же, погладив меня снова по голове, обещал мне всякий раз показывать скрипку, когда я буду, как и теперь, умна, добра и послушна. Таким образом, скрипка разогнала наше общее горе. Только вечером батюшка, уходя со двора, шепнул мне, чтоб я помнила, что он мне вчера говорил.

Таким образом я росла в нашем углу, и мало-помалу любовь моя, – нет, лучше я скажу страсть, потому что не знаю такого сильного слова, которое бы могло передать вполне мое неудержимое, мучительное для меня самой чувство к отцу, – дошла даже до какой-то болезненной раздражительности. У меня было только одно наслаждение – думать и мечтать о нем; только одна воля – делать все, что могло доставить ему хоть малейшее удовольствие. Сколько раз, бывало, я дожидалась его прихода на лестнице, часто дрожа и посинев от холода, только для того, чтоб хоть одним мгновением раньше узнать о его прибытии и поскорее взглянуть на него. Я была как безумная от радости, когда он, бывало, хоть немножко приласкает меня. А между тем часто мне было до боли мучительно, что я так упорно холодна с бедной матушкой; были минуты, когда я надрывалась от тоски и жалости, глядя на нее. В их вечной вражде я не могла быть равнодушной и должна была выбирать между ними, должна была взять чью-нибудь сторону, и взяла сторону этого полусумасшедшего человека, единственно оттого, что он был так жалок, унижен в глазах моих и в самом начале так непостижимо поразил мою фантазию. Но, кто рассудит? – может быть, я привязалась к нему именно оттого, что он был очень странен, даже с виду, и не так серьезен и угрюм, как матушка, что он был почти сумасшедший, что часто в нем проявлялось какое-то фиглярство, какие-то детские замашки и что, наконец, я меньше боялась его и даже меньше уважала его, чем матушку. Он как-то был мне более ровня. Мало-помалу я чувствовала, что даже верх на моей стороне, что я понемногу подчиняла его себе, что я уже была необходима ему. Я внутренне гордилась этим, внутренне торжествовала и, понимая свою необходимость для него, даже иногда с ним кокетничала. Действительно, эта чудная привязанность моя походила несколько на роман... Но этому роману суждено было продолжаться недолго: я вскоре лишилась отца и матери. Их жизнь разрешилась страшной катастрофой, которая тяжело и мучительно запечатлелась в моем воспоминании. Вот как это случилось.

III

В это время весь Петербург был взволнован чрезвычайно новостью. Разнесся слух о приезде знаменитого С-ца. Все, что было музыкального в Петербурге, зашевелилось. Певцы, артисты, поэты, художники, меломаны и даже те, которые никогда не были меломанами и с скромною гордостью уверяли, что ни одной ноты не смыслят в музыке, бросились с жадным увлечением за билетами. Зала не могла вместить и десятой доли энтузиастов, имевших возможность дать двадцать пять рублей за вход; но европейское имя С-ца, его увенчанная лаврами старость, неувядаемая свежесть таланта, слухи, что в последнее время он уже редко брал в руки смычок в угоду публике, уверение, что он уже в последний раз объезжает Европу и потом совсем перестанет играть, произвели свой эффект. Одним словом, впечатление было

полное и глубокое.

Я уже говорила, что приезд каждого нового скрипача, каждой хоть сколько-нибудь прославленной знаменитости производил на моего отчима самое неприятное действие. Он всегда из первых спешил услышать приезжего артиста, чтоб поскорее узнать всю степень его искусства. Часто он бывал даже болен от похвал, которые раздавались кругом его новоприбывшему, и только тогда успокаивался, когда мог отыскать недостатки в игре нового скрипача и с едкостью распространить свое мнение всюду, где мог. Бедный помешанный человек считал во всем мире только один талант, только одного артиста, и этот артист был, конечно, он сам. Но молва о приезде С-ца, гения музыкального, произвела на него какое-то потрясающее действие. Нужно заметить, что в последние десять лет Петербург не слыхал ни одного знаменитого дарования, хотя бы даже и неравносильного с С-цом; следственно, отец мой и не имел понятия об игре первоклассных артистов в Европе.

Мне рассказывали, что, при первых слухах о приезде С-ца, отца моего тотчас же увидели снова за кулисами театра. Говорили, что он явился чрезвычайно взволнованный и с беспокойством осведомлялся о С-це и предстоящем концерте. Его долго уже не видали за кулисами, и появление его произвело даже эффект Кто-то захотел подразнить его и с вызывающим видом сказал: «Теперь вы, батюшка, Егор Петрович, услышите не балетную музыку, а такую, от которой вам, уж верно, житья не будет на свете!» Говорят, что он побледнел, услышав эту насмешку, однако отвечал, истерически улыбаясь: «Посмотрим; славны бубны за горами; ведь С-ц только разве в Париже был, так это французы про него накричали, а уже известно, что такое французы!» и т. д. Кругом раздался хохот; бедняк обиделся, но, сдержав себя, прибавил, что, впрочем, он не говорит ничего, а что вот увидим, посмотрим, что до послезавтра недолго и что скоро все чудеса разрешатся.

Б. рассказывает, что в этот же вечер, перед сумерками, он встретился с князем Х-м, известным дилетантом, человеком глубоко понимавшим и любившим искусство. Они шли вместе, толкуя о новоприбывшем артисте, как вдруг, на повороте одной улицы, Б. увидел моего отца, который стоял перед окном магазина и пристально всматривался в афишку, на которой крупными литерами объявлено было о концерте С-ца и которая лежала на окне магазина.

– Видите ли вы этого человека? – сказал Б., указывая на моего отца.

– Кто такой? – спросил князь.

– Вы о нем уже слыхали. Это тот самый Ефимов, о котором я с вами не раз говорил и которому вы даже оказали когда-то покровительство.

– Ах, это любопытно! – сказал князь. – Вы о нем много наговорили. Сказывают, он очень занимателен. Я бы желал его слышать.

– Это не стоит, – отвечал Б., – да и тяжело. Я не знаю, как вам, а мне он всегда надрывает сердце. Его жизнь – страшная, безобразная трагедия. Я его глубоко чувствую, и как ни грязен он, но во мне все-таки не заглохла к нему симпатия. Вы говорите, князь, что он должен быть любопытен. Это правда, но он производит слишком тяжелое впечатление. Во-первых, он сумасшедший; во-вторых, на этом сумасшедшем три преступления, потому что, кроме себя, он загубил еще два существования: своей жены и дочери. Я его знаю; он умер бы на месте, если б уверился в своем преступлении. Но весь ужас в том, что вот уже восемь лет, как он *почти* уверен в нем, и восемь лет борется со своею совестью, чтоб сознаться в том не почти, а вполне.

– Вы говорили, он беден? – сказал князь.

– Да; но бедность теперь для него почти счастье, потому что она его отговорка. Он может теперь уверять всех, что ему мешает только бедность и что, будь он богат, у него было бы время, не было бы заботы и тотчас увидали бы, какой он артист. Он женился в странной надежде, что тысяча рублей, которые были у его жены, помогут ему стать на ноги. Он поступил как фантазер, как поэт, да так он и всегда поступал в жизни. Знаете ли, что он говорит целые восемь лет без умолку? Он утверждает, что виновница его бедствий – жена, что она мешает ему. Он сложил руки и не хочет работать. А отнимите у него эту жену – и он

будет самое несчастное существо в мире. Вот уже несколько лет, как он не брал в руки скрипки, – знаете ли почему? Потому что каждый раз, как он берет в руки смычок, он сам внутренне принужден убедиться, что он ничто, нуль, а не артист. Теперь же, когда смычок лежит в стороне, у него есть хотя отдаленная надежда, что это неправда. Он мечтатель; он думает, что вдруг, каким-то чудом, за один раз, станет знаменитейшим человеком в мире. Его девиз: *aut Caesar, aut nihil*,² как будто Цезарем, можно сделаться так, вдруг, в один миг. Его жажда – слава. А если такое чувство делается главным и единственным двигателем артиста, то этот артист уж не артист, потому что он уже потерял главный художественный инстинкт, то есть любовь к искусству, единственно потому, что оно искусство, а не что другое, не слава. Но С-ц, напротив: когда он берет смычок, для него не существует ничего в мире, кроме его музыки. После смычка первое дело у него деньги, а уж третье, кажется, слава. Но он об ней мало заботился... Знаете ли, что теперь занимает этого несчастного? – прибавил Б., указывая на Ефимова. – Его занимает самая глупая, самая ничтожнейшая, самая жалкая и самая смешная забота в мире, то есть: выше ли он С-ца, или С-ц выше его, – больше ничего, потому что он все-таки уверен, что он первый музыкант во всем мире. Уверьте его, что он не артист, и я вам говорю, что он умрет на месте как пораженный громом, потому что страшно расставаться с неподвижной идеей, которой отдал на жертву всю жизнь и которой основание все-таки глубоко и серьезно, ибо призвание его вначале было истинное.

– А любопытно, что будет с ним, когда он услышит С-ца, – заметил князь.

– Да, – сказал Б. задумчиво. – Но нет: он очнется тотчас же; его сумасшествие сильнее истины, и он тут же выдумает какую-нибудь отговорку.

– Вы думаете? – заметил князь.

В это время они поравнялись с отцом. Он было хотел пройти незамеченным, но Б. остановил его и заговорил с ним. Б. спросил, будет ли он у С-ца. Отец отвечал равнодушно, что не знает, что у него есть одно дело поважнее концертов и всех заезжих виртуозов, но, впрочем, посмотрит, увидит, и если выдастся свободный часок, отчего же нет? когда-нибудь сходит. Тут он быстро и беспокойно посмотрел на Б. и на князя и недоверчиво улыбнулся, потом схватился за шляпу, кивнул головой и прошел мимо, отговорившись, что некогда.

Но я уже за день знала о заботе отца. Я не знала, что именно его мучит, но видела, что он был в страшном беспокойстве; даже матушка это заметила. Она была в это время как-то очень больна и едва передвигала ноги. Отец поминутно то входил домой, то выходил из дома. Утром пришли к нему трое или четверо гостей, старых его товарищей, чему я очень изумилась, потому что, кроме Карла Федорыча, посторонних людей у нас почти никогда не видала и с нами все раззнакомились с тех пор, как батюшка совсем оставил театр. Наконец, прибежал, запыхавшись, Карл Федорыч и принес афишку. Я внимательно прислушивалась и приглядывалась, и все это меня беспокоило так, как будто я одна была виновата во всей этой тревоге и в беспокойстве, которое читала на лице батюшки. Мне очень хотелось понять то, о чем они говорят, и я в первый раз услышала имя С-ца. Потом я поняла, что нужно по крайней мере пятнадцать рублей, чтоб увидеть этого С-ца. Помню тоже, что батюшка как-то не удержался и, махнув рукою, сказал, что знает он эти чуда заморские, таланты неслыханные, знает и С-ца, что это всё жида, за русскими деньгами лезут, потому что русские спроста всякому вздору верят, а уж и подавно тому, о чем француз прокричал. Я уже понимала, что значило слово: *нет таланта*. Гости стали смеяться и вскоре ушли все, оставя батюшку совершенно не в духе. Я поняла, что он за что-то сердит на этого С-ца, и, чтоб подслужиться к нему и рассеять тоску его, подошла к столу, взяла афишку, начала разбирать ее и вслух прочла имя С-ца. Потом, засмеявшись и посмотрев на батюшку, который задумчиво сидел на стуле, сказала: «Это, верно, такой же, как и Карл Федорыч: он, верно, тоже никак не попадет». Батюшка вздрогнул, как будто испугавшись, вырвал из рук моих

² *Aut Caesar aut nihil* (или Цезарь, или ничто), «все или ничего» – девиз Цезаря Борджиа.

афишку, закричал и затопал ногами, схватил шляпу и вышел было из комнаты, но тотчас же воротился, вызвал меня в сени, поцеловал и с каким-то беспокойством, с каким-то затаенным страхом начал мне говорить, что я умное, что я доброе дитя, что я, верно, не захочу огорчить его, что он ждет от меня какой-то большой услуги, но чего именно, он не сказал. К тому же мне было тяжело его слушать; я видела, что слова его и ласки были неискренни, и все это как-то потрясло меня. Я мучительно начала за него беспокоиться.

На другой день, за обедом, – это было уже накануне концерта – батюшка был совсем как убитый. Он ужасно переменялся и беспрерывно взглядывал на меня и на матушку. Наконец, я изумилась, когда он даже заговорил о чем-то с матушкой, – я изумилась, потому что он с ней почти никогда не говорил. После обеда он стал что-то особенно за мной ухаживать; поминутно, под разными предлогами, вызывал меня в сени и, оглядываясь кругом, как будто боясь, чтоб его не застали, все гладил он меня по голове, все целовал меня, все говорил мне, что я дорогое дитя, что я послушное дитя, что, верно, я люблю своего папу и что, верно, сделаю то, о чем он меня попросит. Все это довело меня до невыносимой тоски. Наконец, когда он в десятый раз вызвал меня на лестницу, дело объяснилось. С тоскливым, измученным видом, беспокойно оглядываясь по сторонам, он спросил меня знаю ли я, где лежат у матушки те двадцать пять рублей, которые она вчера поутру принесла? Я обмерла от испуга, услышав такой вопрос. Но в эту минуту кто-то зашумел на лестнице, и батюшка, испугавшись, бросил меня и побежал со двора. Он воротился уже ввечеру, смущенный, грустный, озабоченный, сел молчаливо на стул и начал с какою-то робостью на меня поглядывать. На меня напал какой-то страх, и я намеренно избегала его взглядов. Наконец матушка, которая весь день пролежала в постели, подозвала меня, дала мне медных денег и послала в лавочку купить ей чаю и сахару. Чай пили у нас очень редко: матушка позволяла себе эту, по нашим средствам, прихоть только тогда, когда чувствовала себя нездоровой и в лихорадке. Я взяла деньги и, вышед в сени, тотчас же пустилась бежать, как будто боясь, чтоб меня не догнали. Но то, что я предчувствовала, случилось: батюшка догнал меня уже на улице и воротил назад на лестницу.

– Неточка! – начал он дрожащим голосом, – голубчик мой! Послушай: дай-ка мне эти деньги, а я завтра же...

– Папочка! папочка! – закричала я, бросаясь на колени и умоляя его, – папочка! не могу! нельзя! Маме нужно чай кушать... Нельзя у мамы брать, никак нельзя! Я другой раз унесу...

– Так ты не хочешь? ты не хочешь. – шептал он мне в каком-то исступлении, – так ты, стало быть, не хочешь любить меня? Ну, хорошо же! теперь я тебя брошу. Оставайся с мамой, а я от вас уйду и тебя с собой не возьму. Слышишь ли ты, злая девчонка? слышишь ли ты?

– Папочка! – закричала я в полном ужасе, – возьми деньги, на! Что мне делать теперь? – говорила я, ломая руки и ухватившись за полы его сюртука, – мамочка плакать будет, мамочка опять бранить меня будет!

Он, кажется, не ожидал такого сопротивления, но деньги взял; наконец, не будучи в силах вынести мои жалобы и рыдания, оставил меня на лестнице и сбежал вниз. Я пошла вверх, но силы оставили меня у дверей нашей квартиры; я не смела войти, не могла войти; все, насколько было во мне сердца, было возмущено и потрясено. Я закрыла лицо руками и бросилась на окно, как тогда, когда в первый раз услышала от отца его желание смерти матушки. Я была в каком-то забытии, в оцепенении и вздрагивала, прислушиваясь к малейшему шороху на лестнице. Наконец я услышала, что кто-то поспешно всходил вверх. Это был он; я отличила его походку.

– Ты здесь? – сказал он шепотом.

Я бросилась к нему.

– На! – закричал он, всовывая мне в руки деньги, – на! возьми их назад! Я тебе теперь не отец, слышишь ли ты? Я не хочу быть теперь твоим папой! Ты любишь маму больше меня! так и ступай к маме! А я тебя знать не хочу! – Сказав это, он оттолкнул меня и опять

побежал по лестнице. Я, плача, бросилась догонять его.

– Папочка! добренький папочка! я буду слушаться! – кричала я, – я тебя люблю больше мамы! Возьми деньги назад, возьми!

Но он уже не слышал меня; он исчез. Весь этот вечер я была как убитая и дрожала в лихорадочном ознобе. Помню, что матушка что-то мне говорила, подзывала меня к себе; я была как без памяти, ничего не слыхала и не видала. Наконец все разрешилось припадком я начала плакать, кричать; матушка испугалась и не знала, что делать. Она взяла меня к себе на постель, и я не помнила, как заснула, обхватив ее шею, вздрагивая и пугаясь чего-то каждую минуту. Так прошла целая ночь. Наутро я проснулась очень поздно, когда матушки уже не было дома. Она в это время всегда уходила за своими делами. У батюшки кто-то был посторонний, и они оба о чем-то громко разговаривали. Я насилу дождалась, пока ушел гость, и, когда мы остались одни, бросилась к отцу и, рыдая, стала просить, чтоб он простил меня за вчерашнее.

– А будешь ли ты умным дитятей, как прежде? – сурово спросил он меня.

– Буду, папочка, буду! – отвечала я. – Я скажу тебе, где у мамы деньги лежат. Они у ней в этом ящике, в шкатулке, вчера лежали.

– Лежали? Где? – закричал он, встрепенувшись, и встал со стула. – Где они лежали?

– Они заперты, папаша! – говорила я. – Подожди: вечером, когда мама пошлет меня, потому что медные деньги, я видела, все вышли.

– Мне нужно пятнадцать рублей, Неточка! Слышишь ли? Только пятнадцать рублей! Достань мне сегодня; я тебе завтра же все принесу. А я тебе сейчас пойду леденцов куплю, орехов куплю... куклу тоже тебе куплю... и завтра тоже... и каждый день гостинцев буду приносить, если будешь умная девочка!

– Не нужно, папа, не нужно! я не хочу гостинцев; я не буду их есть; я тебе их назад отдам! – закричала я, разрываясь от слез, потому что все сердце изныло у меня в одно мгновение. Я почувствовала в эту минуту, что ему не жалко меня и что он не любит меня, потому что не видит, как я его люблю, и думает, что я за гостинцы готова служить ему. В эту минуту я, ребенок, понимала его насквозь и уже чувствовала, что меня навсегда уязвило это сознание, что я уже не могла любить его, что я потеряла моего прежнего папочку. Он же был в каком-то восторге от моих обещаний; он видел, что я готова была решиться на все для него, что я все для него сделаю, и бог видит, как много было это «все» для меня тогда. Я понимала, что значили эти деньги для бедной матушки; знала, что она могла заболеть от огорчения, потеряв их, и во мне мучительно кричало раскаяние. Но он ничего не видал; он меня считал трехлетним ребенком, тогда как я все понимала. Восторг его не знал пределов; он целовал меня, уговаривал, чтоб я не плакала, сулил мне, что сегодня же мы уйдем куда-то от матушки, – вероятно, лстя моей всегдашней фантазии, – и, наконец, вынув из кармана афишу, начал уверять меня, что этот человек, к которому он идет сегодня, ему враг, смертельный враг его, но что врагам его не удастся. Он решительно сам походил на ребенка, заговорив со мною о врагах своих. Заметив же, что я не улыбаюсь, как бывало, когда он говорил со мной, и слушаю его молча, взял шляпу и вышел из комнаты, потому что куда-то спешил; но, уходя, еще раз поцеловал меня и кивнул мне головою с усмешкою, словно не уверенный во мне и как будто стараясь, чтоб я не раздумала.

Я уже сказала, что он был как помешанный; но еще и накануне было это видно. Деньги ему нужны были для билета в концерт, который для него должен был решить все. Он как будто заранее предчувствовал, что этот концерт должен был разрешить всю судьбу его, но он так потерялся, что накануне хотел отнять у меня медные деньги, как будто мог за них достать себе билет. Странности его еще сильнее обнаруживались за обедом. Он решительно не мог усидеть на месте и не притрогивался ни к какому кушанью поминутно вставал с места и опять садился, словно одумавшись; то хватался за шляпу, как будто собираясь куда-то идти, то вдруг делался как-то странно рассеянным, все что-то шептал про себя, потом вдруг взглядывал на меня, мигал мне глазами, делал мне какие-то знаки, как будто в нетерпении поскорей добиться денег и как будто сердясь, что я до сих пор не взяла их у матушки. Даже

матушка заметила все эти странности и глядела на него с изумлением. Я же была точно приговоренная к смерти. Кончился обед; я забила в угол и, дрожа как в лихорадке, считала каждую минуту до того времени, когда матушка обыкновенно посылала меня за покупками. В жизнь свою я не проводила более мучительных часов; они навеки останутся в моем воспоминании. Чего я не переживала в эти мгновения! Есть минуты, в которые переживаешь сознанием гораздо более, чем в целые годы. Я чувствовала, что делаю дурной поступок: он же сам помог моим добрым инстинктам, когда в первый раз малодушно натолкнул меня на зло и, испугавшись его, объяснил мне, что я поступила очень дурно. Неужели же он не мог понять, как трудно обмануть натуру, жадную к сознанию впечатлений и уже прочувствовавшую, осмыслившую много злого и доброго? Я ведь понимала, что, видно, была ужасная крайность, которая заставила его решиться другой раз натолкнуть меня на порок и пожертвовать, таким образом, моим бедным, незащищенным детством, рискнуть еще раз поколебать мою неустоявшую совесть. И теперь, забившись в угол, я раздумывала про себя: зачем же он обещал награду за то, что уже я решилась сделать своей собственной волей? Новые ощущения, новые стремления, доселе неведомые, новые вопросы толпою восставали во мне, и я мучилась этими вопросами. Потом я вдруг начинала думать о матушке; я представляла себе горесть ее при потере последнего трудового. Наконец матушка положила работу, которую делала через силу, и подозвала меня. Я задрожала и пошла к ней. Она вынула из комода деньги и, давая мне, сказала: «Ступай, Неточка; только, ради бога, чтоб тебя не обсчитали, как наемни, да не потеряй как-нибудь». Я с умоляющим видом взглянула на отца, но он кивал головою, ободрительно улыбался мне и потирал руки от нетерпения. Часы пробили шесть, а концерт назначен был в семь часов. Он тоже многое вынес в этом ожидании.

Я остановилась на лестнице, поджидая его. Он был так взволнован и нетерпелив, что без всякой предосторожности тотчас же выбежал вслед за мной. Я отдала ему деньги; на лестнице было темно, и я не могла видеть лица его; но я чувствовала, что он весь дрожал, принимая деньги. Я стояла, как будто остолбенев и не двигаясь с места; наконец, очнувшись, когда он стал посылать меня наверх вынести ему его шляпу. Он не хотел и входить.

– Папа! разве... ты не пойдешь вместе со мною? – спросила я прерывающимся голосом, думая о последней надежде моей – его заступничестве.

– Нет... ты уже поди одна... а? Подожди, подожди! – закричал он, спохватившись, – подожди, вот я тебе гостинцу сейчас принесу; а ты только сходи сперва да принеси сюда мою шляпу.

Как будто ледяная рука сжала вдруг мое сердце. Я вскрикнула, оттолкнула его и бросилась наверх. Когда я вошла в комнату, на мне лица не было, и если б теперь я захотела сказать, что у меня отняли деньги, то матушка поверила бы мне. Но я ничего не могла говорить в эту минуту. В припадке судорожного отчаяния бросилась я поперек матушкиной постели и закрыла лицо руками. Через минуту дверь робко скрипнула и вошел батюшка. Он пришел за своей шляпой.

– Где деньги? – закричала вдруг матушка, разом догадавшись, что произошло что-нибудь необыкновенное. – Где деньги? говори! говори! – Тут она схватила меня с постели и поставила среди комнаты.

Я молчала, опустила глаза в землю; я едва понимала, что со мною делается и что со мной делают.

– Где деньги? – закричала она опять, бросая меня и вдруг повернувшись к батюшке, который хватался за шляпу. – Где деньги? – повторила она. – А! она тебе отдала их? Безбожник! губитель мой! злодей мой! Так ты ее тоже губишь! Ребенка! ее, ее?! Нет же! ты так не уйдешь!

И в один миг она бросилась к дверям, заперла их изнутри и взяла ключ к себе.

– Говори! признавайся! – начала она мне голосом, едва слышным от волнения, – признавайся во всем! Говори же, говори! или... я не знаю, что я с тобой сделаю!

Она схватила мои руки и ломала их, допрашивая меня. Она была в исступлении. В это

мгновение я поклялась молчать и не сказать ни слова про батюшку, но робко подняла на него в последний раз глаза... Один его взгляд, одно его слово, что-нибудь такое, чего я ожидала и о чем молила про себя, – и я была бы счастлива, несмотря ни на какие мучения, ни на какую пытку... Но, боже мой! бесчувственным, угрожающим жестом он приказывал мне молчать, будто я могла бояться чьей-нибудь другой угрозы в эту минуту. Мне сдавило горло,хватило дух, подкосило ноги, и я упала без чувств на пол... Со мной повторился вчерашний нервный припадок.

Я очнулась, когда вдруг раздался стук в дверь нашей квартиры. Матушка отперла, и я увидела человека в ливрее, который, войдя в комнату и с удивлением озираясь кругом на всех нас, спросил музыканта Ефимова. Отчим назвался. Тогда лакей подал записку и уведомил, что он от Б., который в эту минуту находился у князя. В пакете лежал пригласительный билет к С-цу.

Появление лакея в богатой ливрее, назвавшего имя князя, своего господина, который посылал нарочного к бедному музыканту Ефимову, – все это произвело на миг сильное впечатление на матушку. Я сказала в самом начале рассказа о ее характере, что бедная женщина все еще любила отца. И теперь, несмотря на целые восемь лет непрерывной тоски и страданий, ее сердце все еще не изменилось: она все еще могла любить его! Бог знает, может быть, она вдруг увидела теперь перемену в судьбе его. На нее даже и тень какой-нибудь надежды имела влияние. Почему знать, – может быть, она тоже была несколько заражена непоколебимою самоуверенностью своего сумасбродного мужа! Да и невозможно, чтоб эта самоуверенность на нее, слабую женщину, не имела хоть какого-нибудь влияния, и на внимании князя она вмиг могла построить для него тысячу планов. В один миг она готова была опять обратиться к нему, она могла простить ему за всю жизнь свою, даже взвесив его последнее преступление – пожертвование ее единственным дитятей, и в порыве заново вспыхнувшего энтузиазма, в порыве новой надежды низвести это преступление до простого проступка, до малодушия, вынужденного нищенством, грязною жизнью, отчаянным положением. В ней все было увлечение, и в этот миг у ней уже были снова готовы прощение и сострадание без конца для своего погибшего мужа.

Отец засуетился; его тоже поразила внимательность князя и Б. Он прямо обратился к матушке, что-то шепнул ей, и она вышла из комнаты. Она воротилась чрез две минуты, принеся размененные деньги, и батюшка тотчас же дал рубль серебром посланному, который ушел с вежливым поклоном. Между тем матушка, выйдившая на минуту, принесла утюг, достала лучшую мужнину манишку и начала ее гладить. Она сама повязала ему на шею белый батистовый галстук, сохранявшийся на всякий случай с незапамятных пор в его гардеробе вместе с черным, хотя уже и очень поношенным фракком, который был сшит еще при поступлении его в должность при театре. Кончив туалет, отец взял шляпу, но, выходя, попросил стакан воды; он был бледен и в изнеможении присел на стул. Воду подала уже я; может быть, неприязненное чувство снова прокралось в сердце матушки и охладило ее первое увлечение.

Батюшка вышел; мы остались одни. Я забилась в угол и долго молча смотрела на матушку. Я никогда не видала ее в таком волнении: губы ее дрожали, бледные щеки вдруг разгорелись, и она по временам вздрагивала всеми членами. Наконец тоска ее начала изливаться в жалобах, в глухих рыданиях и сетованиях.

– Это я, это все я виновата, несчастная! – говорила она сама с собою. – Что ж с нею будет? что ж с нею будет, когда я умру? – продолжала она, остановясь посреди комнаты, словно пораженная молниею от одной этой мысли. – Неточка! дитя мое! бедная ты моя! несчастная! – сказала она, взяв меня за руки и судорожно обнимая меня. – На кого ты останешься, когда и при жизни-то я не могу воспитать тебя, ходить и глядеть за тобою? Ох, ты не понимаешь меня! Понимаешь ли? запомнишь ли, что я теперь говорила, Неточка? будешь ли помнить вперед?

– Буду, буду, маменька! – говорила я, складывая руки и умоляя ее.

Она долго, крепко держала меня в объятиях, как будто трепеща одной мысли, что

разлучится со мною. Сердце мое разрывалось.

– Мамочка! мама! – сказала я, всхлипывая, – за что ты... за что ты не любишь папу? – И рыдания не дали мне досказать.

Стенание вырвалось из груди ее. Потом, в новой, ужасной тоске, она стала ходить взад и вперед по комнате.

– Бедная, бедная моя! А я и не заметила, как она выросла; она знает, все знает! Боже мой! какое впечатление, какой пример! – И она опять ломала руки в отчаянии.

Потом она подходила ко мне и с безумною любовью целовала меня, целовала мои руки, обливала их слезами, умоляла о прощении... Я никогда не видывала таких страданий... Наконец она как будто измучилась и впала в забытие. Так прошел целый час. Потом она встала, утомленная и усталая, и сказала мне, чтоб я легла спать. Я ушла в свой угол, завернувшись в одеяло, но заснуть не могла. Меня мучила она, мучил и батюшка. Я с нетерпением ждала его возвращения. Какой-то ужас овладевал мною при мысли о нем. Через полчаса матушка взяла свечку и подошла ко мне посмотреть, заснула ли я. Чтоб успокоить ее, я зажмурила глаза и притворилась, что сплю. Оглядев меня, она тихонько подошла к шкафу, отворила его и налила себе стакан вина. Она выпила его и легла спать, оставив зажженную свечку на столе и дверь отпертою, как всегда делалось на случай позднего прихода батюшки.

Я лежала как будто в забытии, но сон не смыкал глаз моих. Едва я заводила их, как тотчас же просыпалась и вздрагивала от каких-то ужасных видений. Тоска моя возрастала все более и более. Мне хотелось кричать, но крик замирал в груди моей. Наконец, уже поздно ночью, я услышала, как отворилась наша дверь. Не помню, сколько прошло времени, но когда я вдруг совсем открыла глаза, я увидела батюшку. Мне показалось, что он был страшно бледен. Он сидел на стуле возле самой двери и как будто о чем-то задумался. В комнате была мертвая тишина. Оплывшая сальная свечка грустно освещала наше жилище. Я долго смотрела, но батюшка все еще не двигался с места; он сидел неподвижно, все в том же положении, опустив голову и судорожно опершись руками о колени. Я несколько раз пыталась окликнуть его, но не могла. Оцепенение мое продолжалось. Наконец он вдруг очнулся, поднял голову и встал со стула. Он стоял несколько минут посреди комнаты, как будто решаясь на что-нибудь; потом вдруг подошел к постели матушки, прислушался и, уверившись, что она спит, отправился к сундуку, в котором лежала его скрипка. Он отпер сундук, вынул черный футляр и поставил на стол; потом снова огляделся кругом; взгляд его был мутный и беглый, – такой, какого я у него никогда еще не замечала.

Он было взялся за скрипку, но, тотчас же оставив ее, воротился и запер двери. Потом, заметив отворенный шкаф, тихонько подошел к нему, увидел стакан и вино, налил и выпил. Тут он в третий раз взялся за скрипку, но в третий раз оставил ее и подошел к постели матушки. Цепenea от страха, я ждала, что будет.

Он что-то очень долго прислушивался, потом вдруг откинул одеяло с лица и начал ощупывать его рукою. Я вздрогнула. Он нагнулся еще раз и почти приложил к ней голову; но когда он приподнялся в последний раз, то как будто улыбка мелькнула на его страшно побледневшем лице. Он тихо и бережно накрыл одеялом спящую, закрыл ей голову, ноги... и я начала дрожать от неведомого страха: мне стало страшно за матушку, мне стало страшно за ее глубокий сон, и с беспокойством вглядывалась я в эту неподвижную линию, которая угловато обрисовала на одеяле члены ее тела... Как молния, пробежала страшная мысль в уме моем.

Кончив все приготовления, он снова подошел к шкафу и выпил остатки вина. Он весь дрожал, подходя к столу. Его узнать нельзя было – так он был бледен. Тут он опять взял скрипку. Я видела эту скрипку и знала, что она такое, но теперь ожидала чего-то ужасного, страшного, чудесного... и вздрогнула от первых ее звуков. Батюшка начал играть. Но звуки шли как-то прерывисто; он поминутно останавливался, как будто припоминал что-то; наконец с растерзанным, мучительным видом положил свой смычок и как-то странно поглядел на постель. Там его что-то все беспокоило. Он опять пошел к постели... Я не

пропускала ни одного движения его и, замирая от ужасного чувства, следила за ним. Вдруг он поспешно начал чего-то искать под руками – и опять та же страшная мысль, как молния, обожгла меня. Мне пришло в голову: отчего же так крепко спит матушка? отчего же она не проснулась, когда он рукою ощупывал ее лицо? Наконец я увидела, что он стаскивал все, что мог найти из нашего платья, взял салоп матушкин, свой старый сюртук, халат, даже мое платье, которое я скинула, так что закрыл матушку совершенно и спрятал под набросанной грудой; она лежала все неподвижно, не шевелясь ни одним членом.

Она спала глубоким сном!

Он как будто вздохнул свободнее, когда кончил свою работу. В этот раз уже ничто не мешало ему, но все еще что-то его беспокоило. Он переставил свечу и стал лицом к дверям, чтоб даже и не поглядеть на постель. Наконец он взял скрипку и с каким-то отчаянным жестом ударил смычком... Музыка началась. Но это была не музыка... Я помню все отчетливо, до последнего мгновения; помню все, что поразило тогда мое внимание. Нет, это была не такая музыка, которую мне потом удавалось слышать! Это были не звуки скрипки, а как будто чей-то ужасный голос загремел в первый раз в нашем темном жилище. Или неправильны, болезненны были мои впечатления, или чувства мои были потрясены всем, чему я была свидетельницей, подготовлены были на впечатления страшные, неисходимо мучительные, – но я твердо уверена, что слышала стоны, крик человеческий, плач; целое отчаяние выливалось в этих звуках, и наконец, когда загремел ужасный финальный аккорд, в котором было все, что есть ужасного в плаче, мучительного в муках и тоскливого в безнадежной тоске, – все это как будто соединилось разом... я не могла выдержать, – я задрожала, слезы брызнули из глаз моих, и, с страшным, отчаянным криком бросившись к батюшке, я обхватила его руками. Он вскрикнул и опустил свою скрипку.

С минуту стоял он как потерянный. Наконец глаза его запрыгали и забегали по сторонам; он как будто искал чего-то, вдруг схватил скрипку, взмахнул ею надо мною... еще минута, и он, может быть, убил бы меня на месте.

– Папочка! – закричала я ему, – папочка!

Он задрожал как лист, когда услышал мой голос, и отступил на два шага.

– Ах! так еще ты осталась! Так еще не все кончилось! Так еще ты осталась со мной! – закричал он, подняв меня за плеча на воздух.

– Папочка! – закричала я снова, – не пугай меня, ради бога! мне страшно! ай!

Мой плач поразил его. Он тихо опустил меня на пол и с минуту безмолвно смотрел на меня, как будто узнавая и припоминая что-то. Наконец, вдруг, как будто что-нибудь перевернуло его, как будто его поразила какая-то ужасная мысль, – из помутившихся глаз его брызнули слезы; он нагнулся ко мне и начал пристально смотреть мне в лицо.

– Папочка! – говорила я ему, терзаясь от страха, – не смотри так, папочка! Уйдем отсюда! уйдем скорее! уйдем, убежим!

– Да, убежим, убежим! пора! пойдем, Неточка! скорее, скорее! – И он засуетился, как будто только теперь догадался, что ему делать. Торопливо озирался он кругом и, увидя на полу матушкин платок, поднял его и положил в карман, потом увидел чепчик – и его тоже поднял и спрятал на себе, как будто снаряжаясь в дальнюю дорогу и захватывая все, что было ему нужно.

Я мигом надела свое платье и, тоже торопясь, начала захватывать все, что мне казалось нужным для дороги.

– Все ли, все ли? – спрашивал отец, – Все ли готово? Скорей! Скорей!

Я наскоро навязала узел, накинула на голову платок, и уже мы оба стали было выходить, когда мне вдруг пришло в голову, что надо взять и картинку, которая висела на стене. Батюшка тотчас же согласился с этим. Теперь он был тих, говорил шепотом и только торопил меня поскорее идти. Картина висела очень высоко; мы вдвоем принесли стул, потом приладили на него скамейку и, взгромоздившись на нее, наконец, после долгих трудов, сняли. Тогда все было готово к нашему путешествию. Он взял меня за руку, и мы было уже пошли, но вдруг батюшка остановил меня. Он долго тер себе лоб, как будто вспоминая что-

то, что еще не было сделано. Наконец он как будто нашел, что ему было надо, отыскал ключи, которые лежали у матушки под подушкой, и торопливо начал искать чего-то в комод. Наконец он воротился ко мне и принес несколько денег, отысканных в ящике.

– Вот, на, возьми это, береги, – прошептал он мне, – не теряй же, помни, помни!

Он мне положил сначала деньги в руку, потом взял их опять и сунул мне за пазуху. Помню, что я вздрогнула, когда к моему телу прикоснулось это серебро, и я как будто только теперь поняла, что такое деньги. Теперь мы опять были готовы, но он вдруг опять остановил меня.

– Неточка! – сказал он мне, как будто размышляя с усилием, – деточка моя, я позабыл... что такое?.. Что это надо?.. Я не помню... Да, да, нашел, вспомнил!.. Поди сюда, Неточка!

Он подвел меня к углу, где был образ, и сказал, чтоб я стала на колени.

– Молись, дитя мое, помолись! Тебе лучше будет!.. Да, право, будет лучше, – шептал он мне, указывая на образ и как-то странно смотря на меня. – Помолись, помолись! – говорил он каким-то просящим, умоляющим голосом.

Я бросилась на колени, сложила руки и, полная ужаса, отчаяния, которое уже совсем овладело мною, упала на пол и пролежала несколько минут как бездыханная. Я напрягала все свои мысли, все свои чувства в молитве, но страх преодолевал меня. Я приподнялась, измученная тоскою. Я уже не хотела идти с ним, боялась его; мне хотелось остаться. Наконец то, что томило и мучило меня, вырвалось из груди моей.

– Папа, – сказала я, обливаясь слезами, – а мама?.. Что с мамой? где она? где моя мама?..

Я не могла продолжать и залилась слезами.

Он тоже со слезами смотрел на меня. Наконец он взял меня за руку, подвел к постели, разметал набросанную грудку платья и открыл одеяло. Боже мой! Она лежала мертвая, уже похолодевшая и посиневшая. Я как бесчувственная бросилась на нее и обняла ее труп. Отец поставил меня на колени.

– Поклонись ей, дитя! – сказал он, – простись с нею...

Я поклонилась. Отец поклонился вместе со мною... Он был ужасно бледен; губы его двигались и что-то шептали.

– Это не я, Неточка, не я, – говорил он мне, указывая дрожащею рукою на труп. – Слышишь, не я; я не виноват в этом. Помни, Неточка!

– Папа, пойдем, – прошептала я в страхе. – Пора!

– Да, теперь пора, давно пора! – сказал он, схватив меня крепко за руку и торопясь выйти из комнаты. – Ну, теперь в путь! Слава богу, слава богу, теперь все кончено!

Мы сошли с лестницы; полусонный дворник отворил нам ворота, подозрительно поглядывая на нас, и батюшка, словно боясь его вопроса, выбежал из ворот первый, так что я едва догнала его. Мы прошли нашу улицу и вышли на набережную канала. За ночь на камнях мостовой выпал снег, и шел теперь мелкими хлопьями. Было холодно; я дрогла до костей и бежала за батюшкой, судорожно уцепившись за полы его фрака. Скрипка была у него под мышкой, и он поминутно останавливался, чтоб придержать под мышкой футляр.

Мы шли с четверть часа; наконец, он повернул по скату тротуара на самую канаву и сел на последней тумбе. В двух шагах от нас была прорубь. Кругом не было ни души. Боже! как теперь помню я то страшное ощущение, которое вдруг овладело мною! Наконец совершилось все, о чем я мечтала уже целый год. Мы ушли из нашего бедного жилища... Но того ли я ожидала, о том ли я мечтала, то ли создалось в моей детской фантазии, когда я загадывала о счастии того, которого я так не детски любила? Всего более мучила меня в это мгновение матушка. «Зачем мы ее оставили, – думала я, – одну? покинули ее тело как ненужную вещь?» И помню, что это более всего меня терзало и мучило.

– Папочка! – начала я, не в силах будучи выдержать мучительной заботы своей, – папочка!

– Что такое? – сказал он сурово.

– Зачем мы, папочка, оставили там маму? Зачем мы бросили ее? – спросила я заплакав. – Папочка! воротимся домой! Позовем к ней кого-нибудь.

– Да, да! – закричал он вдруг, встрепенувшись и приподымаясь с тумбы, как будто что-то новое пришло ему в голову, разрешавшее все сомнения его. – Да, Неточка, так нельзя; нужно пойти к маме; ей там холодно! Поди к ней, Неточка, поди; там не темно, там есть свечка; не бойся, позови к ней кого-нибудь и потом приходи ко мне; поди одна, а я тебя здесь подожду... Я ведь никуда не уйду.

Я тотчас же пошла, но едва только взойшла на тротуар, как вдруг будто что-то кольнуло меня в сердце... Я обернулась и увидела, что он уже сбежал с другой стороны и бежит от меня, оставив меня одну, покидая меня в эту минуту! Я закричала сколько во мне было силы и в страшном испуге бросилась догонять его. Я задыхалась: он бежал все скорее и скорее... я его уже теряла из виду. На дороге мне попалась его шляпа, которую он потерял в бегстве; я подняла ее и пустилась снова бежать. Дух во мне замирал, и ноги подкашивались. Я чувствовала, как что-то безобразное совершалось со мною: мне все казалось, что это сон, и порой во мне рождалось такое же ощущение, как и во сне, когда мне снилось, что я бегу от кого-нибудь, но что ноги мои подкашиваются, погоня настигает меня и я падаю без чувств. Мучительное ощущение разрывало меня: мне было жалко его, сердце мое ныло и болело, когда я представляла, как он бежит, без шинели, без шляпы, от меня, от своего любимого дитяти... Мне хотелось догнать его только для того, чтоб еще раз крепко поцеловать, сказать ему, чтоб он меня не боялся, уверить, успокоить, что я не побегу за ним, коли он не хочет того, а ворочусь одна к матушке. Я разглядела наконец, что он поворотил в какую-то улицу. Добежав до нее и тоже повернув за ним, я еще различала его впереди себя... Тут силы меня оставили: я начала плакать, кричать. Помню, что на побеге я столкнулась с двумя прохожими, которые остановились посреди тротуара и с изумлением смотрели на нас обоих.

– Папочка! папочка! – закричала я в последний раз, но вдруг поскользнулась на тротуаре и упала у ворот дома. Я почувствовала, как все лицо мое облилось кровью. Мгновение спустя я лишилась чувств...

Очнулась я на теплой, мягкой постели и увидела возле себя приветливые, ласковые лица, которые с радостью встретили мое пробуждение. Я разглядела старушку, с очками на носу, высокого господина, который смотрел на меня с глубоким состраданием; потом прекрасную молодую даму и, наконец, седого старика, который держал меня за руку и смотрел на часы. Я пробудилась для новой жизни. Один из тех, которых я встретила во время бегства, был князь Х-ий, и я упала у ворот его дома. Когда, после долгих изысканий, узнали, кто я такова, князь, который послал моему отцу билет в концерт С-ца, пораженный странностью случая, решил принять меня в свой дом и воспитать со своими детьми. Стали отыскивать, что сделалось с батюшкой, и узнали, что он был задержан кем-то уже вне города в припадке иступленного помешательства. Его свезли в больницу, где он и умер через два дня.

Он умер, потому что такая смерть его была необходимостью, естественным следствием всей его жизни. Он должен был так умереть, когда все, поддерживавшее его в жизни, разом рухнуло, рассеялось как призрак, как бесплотная, пустая мечта. Он умер, когда исчезла последняя надежда его, когда в одно мгновение разрешилось перед ним самим и вошло в ясное сознание все, чем обманывал он себя и поддерживал всю свою жизнь. Истина ослепила его своим нестерпимым блеском, и что было ложь, стало ложью и для него самого. В последний час свой он услышал чудного гения, который рассказал ему его же самого и осудил его навсегда. С последним звуком, слетевшим со струн скрипки гениального С-ца, перед ним разрешилась вся тайна искусства, и гений, вечно юный, могучий и истинный, раздавил его своею истинностью. Казалось, все, что только в таинственных, неосязаемых мучениях тяготило его во всю жизнь, все, что до сих пор только грезилось ему и мучило его только в сновидениях, неощутительно, неуловимо, что хотя сказывалось ему по временам, но от чего он с ужасом бежал, заслоняясь ложью всей своей жизни, все, что предчувствовал он, но чего боялся доселе, – все это вдруг разом засияло перед ним, открылось глазам его,

которые упрямо не хотели признать до сих пор свет за свет, тьму за тьму. Но истина была невыносима для глаз его, прозревших в первый раз во все, что было, что есть и в то, что ожидает его; она ослепила и сожгла его разум. Она ударила в него вдруг неизбежно, как молния. Совершилось вдруг то, что он ожидал всю жизнь с замиранием и трепетом. Казалось, всю жизнь секира висела над его головой, всю жизнь он ждал каждое мгновение в невыразимых мучениях, что она ударит в него, и, наконец, секира ударила! Удар был смертелен. Он хотел бежать от суда над собою, но бежать было некуда: последняя надежда исчезла, последняя отговорка пропала. Та, которой жизнь тяготела над ним столько лет, которая не давала ему жить, та, со смертью которой, по своему ослепленному верованию, он должен был вдруг, разом воскреснуть, – умерла. Наконец он был один, его не стесняло ничто: он был наконец свободен! В последний раз, в судорожном отчаянии, хотел он судить себя сам, осудить неумолимо и строго, как беспристрастный, бескорыстный судья; но ослабевший смычок его мог только слабо повторить последнюю музыкальную фразу гения... В это мгновение безумие, сторожившее его уже десять лет, неизбежно поразило его.

IV

Я выздоравливала медленно; но когда уже совсем встала с постели, ум мой все еще был в каком-то оцепенении, и долгое время я не могла понять, что именно случилось со мною. Были мгновения, когда мне казалось, что я вижу сон, и, помню, мне хотелось, чтобы все случившееся и впрямь обратилось в сон! Засыпая на ночь, я надеялась, что вдруг как-нибудь проснусь опять в нашей бедной комнате и увижу отца и мать... Но наконец передо мной прояснилось мое положение, и я мало-помалу поняла, что осталась одна совершенно и живу у чужих людей. Тогда в первый раз почувствовала я, что я сирота.

Я начала жадно присматриваться ко всему новому, так внезапно меня окружившему. Сначала мне все казалось странным и чудным, все меня смущало: и новые лица, и новые обычаи, и комнаты старого княжеского дома – как теперь вижу, большие, высокие, богатые, но такие угрюмые, мрачные, что, помню, я серьезно боялась пуститься через какую-нибудь длинную-длинную залу, в которой, мне казалось, совсем пропаду. Болезнь моя еще не прошла, и впечатления мои были мрачные, тягостные, совершенно под лад этого торжественно-угрюмого жилища. К тому же какая-то, еще неясная мне самой, тоска все более и более нарастала в моем маленьком сердце. С недоумением останавливалась я перед какой-нибудь картиной, зеркалом, камином затейливой работы или статуей, которая как будто нарочно спряталась в глубокую нишу, чтоб оттуда лучше подсмотреть за мной и как-нибудь испугать меня, останавливалась и потом вдруг забывала, зачем я остановилась, чего хочу, о чем начала думать, и только когда очнусь, бывало, страх и смятение нападали на меня и крепко билось мое сердце.

Из тех, кто изредка приходили навестить меня, когда я еще лежала больная, кроме старичка доктора, всего более поразило меня лицо одного мужчины, уже довольно пожилого, такого серьезного, но такого доброго, смотревшего на меня с таким глубоким состраданием! Его лицо я полюбила более всех других. Мне очень захотелось заговорить с ним, но я боялась: он был с виду всегда очень уныл, говорил отрывисто, мало, и никогда улыбка не являлась на губах его. Это был сам князь Х-ий, нашедший меня и пригревший в своем доме. Когда я стала выздоравливать, посещения его становились реже и реже. Наконец, в последний раз, он принес мне конфетов, какую-то детскую книжку с картинками, поцеловал меня, перекрестил и просил, чтоб я была веселее. Утешая меня, он прибавил, что скоро у меня будет подруга, такая же девочка, как и я, его дочь Катя, которая теперь в Москве. Потом, поговорив что-то с пожилой француженкой, нянькой детей его, и с ухаживавшей за мной девушкой, он указал им на меня, вышел, и с тех пор я ровно три недели не видала его. Князь жил в своем доме чрезвычайно уединенно. Большую половину дома занимала княгиня; она тоже не видалась с князем иногда по целым неделям. Впоследствии я заметила, что даже все домашние мало говорили об нем, как будто его и не

было в доме. Все его уважали, и даже, видно было, любили его, а между тем смотрели на него как на какого-то чудного и странного человека. Казалось, и он сам понимал, что он очень странен, как-то непохож на других, и потому старался как можно реже казаться всем на глаза... В свое время мне придется очень много и гораздо подробнее говорить о нем.

В одно утро меня одели в чистое, тонкое белье, надели на меня черное шерстяное платье, с белыми плерезами,³ на которое я посмотрела с каким-то унылым недоумением, причесали мне голову и повели с верхних комнат вниз, в комнаты княгини. Я остановилась как вкопанная, когда меня привели к ней: никогда я еще не видала кругом себя такого богатства и великолепия. Но это впечатление было мгновенное, и я побледнела, когда услышала голос княгини, которая велела подвести меня ближе. Я, и одеваясь, думала, что готовлюсь на какое-то мучение, хотя бог знает отчего вселилась в меня подобная мысль. Вообще я вступила в новую жизнь с какою-то странною недоверчивостью ко всему меня окружавшему. Но княгиня была со мной очень приветлива и поцеловала меня. Я взглянула на нее посмелее. Это была та самая прекрасная дама, которую я видела, когда очнулась после своего беспамятства. Но я вся дрожала, когда целовала ее руку, и никак не могла собраться с силами ответить что-нибудь на ее вопросы. Она приказала мне сесть возле себя на низеньком табурете. Кажется, это место уже предназначено было для меня заранее. Видно было, что княгиня и не желала ничего более, как привязаться ко мне всею душою, обласкать меня и вполне заменить мне мать. Но я никак не могла понять, что попала в случай, и ничего не выиграла в ее мнении. Мне дали прекрасную книжку с картинками и приказали рассматривать. Сама княгиня писала к кому-то письмо, изредка оставляла перо и опять со мной заговаривала; но я сбивалась, путалась и ничего не сказала путного. Одним словом, хотя моя история была очень необыкновенная и в ней большую часть играла судьба, разные, положим, даже таинственные пути, и вообще было много интересного, неизъяснимого, даже чего-то фантастического, но я сама выходила, как будто назло всей этой мелодраматической обстановке, самым обыкновенным ребенком, запуганным, как будто забитым и даже глупеньким. Особенно последнее княгине вовсе не нравилось, и я, кажется, довольно скоро ей совсем надоела, в чем виню одну себя, разумеется. Часу в третьем начались визиты, и княгиня стала ко мне вдруг внимательнее и ласковее. На расспросы приезжавших обо мне она отвечала, что это чрезвычайно интересная история, и потом начинала рассказывать по-французски. Во время ее рассказов на меня глядели, качали головами, восклицали. Один молодой человек навел на меня лорнет, один пахучий седой старичок хотел было поцеловать меня, а я бледнела, краснела и сидела потупив глаза, боясь шевельнуться, дрожа всеми членами. Сердце ныло и болело во мне. Я уносилась в прошедшее, на наш чердак, вспоминала отца, наши длинные, молчаливые вечера, матушку, и когда вспоминала о матушке – в глазах моих накалились слезы, мне сдавливало горло и я так хотела убежать, исчезнуть, остаться одной... Потом, когда кончились визиты, лицо княгини стало приметно суровее. Она уже смотрела на меня угрюмее, говорила отрывистее, и в особенности меня пугали ее пронзительные черные глаза, иногда целую четверть часа устремленные на меня, и крепко сжатые тонкие губы. Вечером меня отвели наверх. Я заснула в лихорадке, просыпалась ночью, тоскуя и плача от болезненных сновидений; а наутро началась та же история, и меня опять повели к княгине. Наконец ей как будто самой наскучило рассказывать своим гостям мои приключения, а гостям соболезновать обо мне. К тому же я была такой обыкновенный ребенок, «без всякой наивности», как, помню, выразилась сама княгиня, говоря глаз на глаз с одной пожилой дамой, которая спросила: «Неужели ей не скучно со мной?» – и вот, в один вечер, меня увели совсем, с тем чтоб не приводить уж более. Таким образом кончилось мое фаворитство; впрочем, мне позволено было ходить везде и всюду, сколько мне было угодно. Я же не могла сидеть на одном месте от глубокой, болезненной тоски своей и рада-рада была, когда уйду, наконец, от всех вниз, в большие

³ нашивками

комнаты. Помню, что мне очень хотелось разговориться с домашними; но я так боялась рассердить их, что предпочитала оставаться одной. Моим любимым препровождением времени было забиться куда-нибудь в угол, где неприметнее, стать за какую-нибудь мебель и там тотчас же начать припоминать и соображать обо всем, что случилось со мною. Но, чудное дело! я как будто забыла окончание того, что со мною случилось у родителей, и всю эту ужасную историю. Передо мной мелькали одни картины, выставлялись факты. Я, правда, все помнила – и ночь, и скрипку, и батюшку, помнила, как доставала ему деньги; но осмыслить, выяснить себе все эти происшествия как-то не могла... Только тяжелее мне становилось на сердце, и когда я доходила воспоминанием до той минуты, когда молилась возле мертвой матушки, то мороз вдруг пробежал по моим членам; я дрожала, слегка вскрикивала, и потом так тяжело становилось дышать, так ныла вся грудь моя, так колотилось сердце, что в испуге выбегала я из угла. Впрочем, я неправду сказала, говоря, что меня оставляли одну: за мной неусыпно и усердно присматривали и с точностью исполняли приказания князя, который велел дать мне полную свободу, не стеснять ничем, но ни на минуту не терять меня из виду. Я замечала, что по временам кто-нибудь из домашних и из прислуги заглядывал в ту комнату, в которой я находилась, и опять уходил, не сказав мне ни слова. Меня очень удивляла и отчасти беспокоила такая внимательность. Я не могла понять, для чего это делается. Мне все казалось, что меня для чего-то берегут и что-нибудь хотят потом со мной сделать. Помню, я все старалась зайти куда-нибудь подальше, чтоб в случае нужды знать, куда спрятаться. Раз я забрела на парадную лестницу. Она была вся из мрамора, широкая, устланная коврами, уставленная цветами и прекрасными вазами. На каждой площадке безмолвно сидело по два высоких человека, чрезвычайно пестро одетых, в перчатках и в самых белых галстуках. Я посмотрела на них в недоумении и никак не могла взять в толк, зачем они тут сидят, молчат и только смотрят друг на друга, а ничего не делают.

Эти уединенные прогулки нравились мне более и более. К тому же была другая причина, по которой я убегала сверху. Наверху жила старая тетка князя, почти безвыходно и безвыездно. Эта старушка резко отразилась в моем воспоминании. Она была чуть ли не важнейшим лицом в доме. В сношениях с нею все наблюдали какой-то торжественный этикет, и даже сама княгиня, которая смотрела так гордо и самовластно, ровно два раза в неделю, по положенным дням, должна была всходить наверх и делать личный визит своей тетке. Она обыкновенно приходила утром; начинался сухой разговор, зачастую прерываемый торжественным молчанием, в продолжение которого старушка или шептала молитвы, или перебирала четки. Визит кончался не прежде, как того хотела сама тетушка, которая вставала с места, целовала княгиню в губы и тем давала знать, что свидание кончилось. Прежде княгиня должна была каждый день посещать свою родственницу; но впоследствии, по желанию старушки, последовало облегчение, и княгиня только обязана была в остальные пять дней недели каждое утро присылать узнать о ее здоровье. Вообще житье престарелой княжны было почти келейное. Она была девушка и, когда ей минуло тридцать пять лет, заключилась в монастырь, где и выжила лет семнадцать, но не постриглась; потом оставила монастырь и приехала в Москву, чтоб жить с сестрою, вдовой, графиней Л., здоровье которой становилось с каждым годом хуже, и примириться со второй сестрой, тоже княжной Х-ю, с которой с лишком двадцать лет была в ссоре. Но старушки, говорят, ни одного дня не провели в согласии, тысячу раз хотели разъехаться и не могли этого сделать, потому что наконец заметили, как каждая из них необходима двум остальным для предохранения от скуки и от припадков старости. Но, несмотря на непривлекательность их житья-бытья и самую торжественную скуку, господствовавшую в их московском тереме, весь город поставлял долгом не прерывать своих визитов трем затворницам. На них смотрели как на хранительниц всех аристократических заветов и преданий, как на живую летопись коренного боярства. Графиня оставила после себя много прекрасных воспоминаний и была превосходная женщина. Заезжие из Петербурга делали к ним свои первые визиты. Кто принимался в их доме, того принимали везде. Но графиня умерла, и сестры разъехались: старшая, княжна Х-я, осталась в Москве, наследовав свою часть после графини, умершей

бездетною, а младшая, монастырка, переселилась к племяннику, князю Х-му, в Петербург. Зато двое детей князя, княжна Катя и Александр, остались гостить в Москве у бабушки, для развлечения и утешения ее в одиночестве. Княгиня, страстно любившая своих детей, не смела слова пикнуть, расставаясь на все время положенного траура. Я забыла сказать, что траур еще продолжался во всем доме князя. когда я поселилась в нем; но срок истекал в коротком времени.

Старушка княжна одевалась вся в черное, всегда в платье из простой шерстяной материи, и носила накрахмаленные, собранные в мелкие складки белые воротнички, которые придавали ей вид богаделенки. Она не покидала четок, торжественно выезжала к обедне, постилась по всем дням, принимала визиты разных духовных лиц и степенных людей, читала священные книги и вообще вела жизнь самую монашескую. Тишина наверху была страшная; невозможно было скрипнуть дверью: старушка была чутка, как пятнадцатилетняя девушка, и тотчас же посылала исследовать причину стука или даже простого скрипа. Все говорили шепотом, все ходили на цыпочках, и бедная француженка, тоже старушка, принуждена была наконец отказаться от любимой своей обуви – башмаков с каблуками. Каблуки были изгнаны. Две недели спустя после моего появления старушка княжна прислала обо мне спросить: кто я такая, что я, как попала в дом и проч. Ее немедленно и почтительно удовлетворили. Тогда прислан был второй нарочный, к француженке, с запросом, отчего княжна до сих пор не видала меня? Тотчас же поднялась суматоха: мне начали чесать голову, умывать лицо, руки, которые и без того были очень чисты, учили меня подходить, кланяться, глядеть веселее и приветливее, говорить, – одним словом, меня всю затормошили. Потом отправилась посланница уже с нашей стороны с предложением: не пожелают ли видеть сиротку? Последовал ответ отрицательный, но назначен был срок на завтра после обедни. Я не спала всю ночь, и рассказывали потом, что я всю ночь бредила, подходила к княжне и в чем-то просила у нее прощения. Наконец, последовало мое представление. Я увидела маленькую, худощавую старушку, сидевшую в огромных креслах. Она закивала мне головою и надела очки, чтоб разглядеть меня ближе. Помню, что я ей совсем не понравилась. Замечено было, что я совсем дикая, не умею ни присесть, ни поцеловать руки. Начались расспросы, и я едва отвечала; но когда дошло дело до отца и матушки, я заплакала. Старушке было очень неприятно, что я расчувствовалась; впрочем, она начала утешать меня и велела возложить мои надежды на бога; потом спросила, когда я была последний раз в церкви, и так как я едва поняла ее вопрос, потому что моим воспитанием очень неглижировали,⁴ то княжна пришла в ужас. Послали за княгиней. Последовал совет, и положено было отвезти меня в церковь в первое же воскресенье. До тех пор княжна обещала молиться за меня, но приказала меня вывести, потому что я, по ее словам, оставила в ней очень тягостное впечатление. Ничего мудреного, так и должно было быть. Но уж видно было, что я совсем не понравилась; в тот же день прислали сказать, что я слишком резвлюсь и что меня слышно на весь дом, тогда как я сидела весь день не шелохнувшись: ясно, что старушке так показалось. Однако и назавтра последовало то же замечание. Случись же, что я в это время уронила чашку и разбила ее. Француженка и все девушки пришли в отчаяние, и меня в ту же минуту переселили в самую отдаленную комнату, куда все последовали за мной в припадке глубокого ужаса.

Но я уж не знаю, чем кончилось потом это дело. Вот почему я рада была уходить вниз и бродить одна по большим комнатам, зная, что уж там никого не беспокою.

Помню, я раз сидела в одной зале внизу. Я закрыла руками лицо, наклонила голову и так просидела не помню сколько часов. Я все думала, думала; мой несозревший ум не в силах был разрешить всей тоски моей, и все тяжелее, тошней становилось у меня в душе. Вдруг надо мной раздался чей-то тихий голос:

– Что с тобой, моя бедная?

⁴ пренебрегали (от франц. *negliger*)

Я подняла голову: это был князь; его лицо выражало глубокое участие и сострадание; но я поглядела на него с таким убитым, с таким несчастным видом, что слеза набежала в больших голубых глазах его.

– Бедная сиротка! – проговорил он, погладив меня по голове.

– Нет, нет, не сиротка! нет! – проговорила я, и стон вырвался из груди моей, и все поднялось и взволновалось во мне. Я встала с места, схватила его руку и, целуя ее, обливая слезами, повторяла умоляющим голосом:

– Нет, нет, не сиротка! нет!

– Дитя мое, что с тобой, моя милая, бедная Неточка? что с тобой?

– Где моя мама? где моя мама? – закричала я, громко рыдая, не в силах более скрывать тоску свою и в бессилии упав перед ним на колени, – где моя мама? голубчик мой, скажи, где моя мама?

– Прости меня, дитя мое!.. Ах, бедная моя, я напомнил ей... Что я наделал! Поди, пойдем со мной, Неточка, пойдем со мною.

Он схватил меня за руку и быстро повел за собою. Он был потрясен до глубины души. Наконец мы пришли в одну комнату, которой еще я не видала.

Это была образная. Были сумерки. Лампады ярко сверкали своими огнями на золотых ризах и драгоценных камнях образов. Из-под блестящих окладов тускло выглядывали лики святых. Все здесь так не походило на другие комнаты, так было таинственно и угрюмо, что я была поражена, и какой-то испуг овладел моим сердцем. К тому же я была так болезненно настроена! Князь торопливо поставил меня на колени перед образом божией матери и сам стал возле меня...

– Молись, дитя, помолись; будем оба молиться! – сказал он тихим, порывистым голосом.

Но молиться я не могла; я была поражена, даже испугана; я вспомнила слова отца в ту последнюю ночь, у тела моей матери, и со мной сделался нервный припадок. Я слегла в постель больная, и в этот вторичный период моей болезни едва не умерла; вот как был этот случай.

В одно утро чье-то знакомое имя раздалось в ушах моих. Я услышала имя С-ца. Кто-то из домашних произнес его возле моей постели. Я вздрогнула; воспоминания нахлынули ко мне, и, припоминая, мечтая и мучась, я пролежала уж не помню сколько часов в настоящем бреду. Проснувшись я уже очень поздно; кругом меня было темно; ночник погас, и девушки, которая сидела в моей комнате, не было. Вдруг я услышала звуки отдаленной музыки. Порой звуки затихали совершенно, порой раздавались слышнее и слышнее, как будто приближались. Не помню, какое чувство овладело мною, какое намерение вдруг родилось в моей больной голове. Я встала с постели и, не знаю, где сыскала я сил, наскоро оделась в мой траур и пошла ощупью из комнаты. Ни в другой, ни в третьей комнате я не встретила ни души. Наконец я пробралась в коридор. Звуки становились все слышнее и слышнее. На середине коридора была лестница вниз; этим путем я всегда сходила в большие комнаты. Лестница была ярко освещена; внизу ходили; я притаилась в углу, чтоб меня не видали, и, только что стало возможно, спустилась вниз, во второй коридор. Музыка гремела из смежной залы; там было шумно, говорливо, как будто собрались тысячи людей. Одна из дверей в залу, прямо из коридора, была завешена огромными двойными портьерами из пунцового бархата. Я подняла первую из них и стала между обоими занавесами. Сердце мое билось так, что я едва могла стоять на ногах. Но через несколько минут, осилив свое волнение, я осмелилась наконец отвернуть немного, с края, второй занавес... Боже мой! эта огромная мрачная зала, в которую я так боялась входить, сверкала теперь тысячью огней. Как будто море света хлынуло на меня, и глаза мои, привыкшие к темноте, были в первое мгновение ослеплены до боли. Ароматический воздух, как горячий ветер, пахнул мне в лицо. Бездна людей ходили взад и вперед; казалось, все с радостными, веселыми лицами. Женщины были в таких богатых, в таких светлых платьях; всюду я встречала сверкающий от удовольствия взгляд. Я стояла как зачарованная. Мне казалось, что я все это видела когда-то,

где-то, во сне... Мне припомнились сумерки, я припомнила наш чердак, высокое окошко, улицу глубоко внизу с сверкающими фонарями, окна противоположного дома с красными гардинами, кареты, столпившиеся у подъезда, топот и храп гордых коней, крики, шум, тени в окнах и слабую, отдаленную музыку... Так вот, вот где был этот рай! – пронеслось в моей голове, – вот куда я хотела идти с бедным отцом... Стало быть, это была не мечта!.. Да, я видела все так и прежде в моих мечтах, в сновидениях! Разгоряченная болезнью фантазия вспыхнула в моей голове, и слезы какого-то необъяснимого восторга хлынули из глаз моих. Я искала глазами отца: «Он должен быть здесь, он здесь», – думала я, и сердце мое билось от ожидания... дух во мне занимался. Но музыка умолкла, раздался гул, и по всей зале пронесся какой-то шепот. Я жадно всматривалась в мелькавшие передо мной лица, старалась узнать кого-то. Вдруг какое-то необыкновенное волнение обнаружилось в зале. Я увидела на возвышении высокого худощавого старика. Его бледное лицо улыбалось, он угловато сгибался и кланялся на все стороны; в руках его была скрипка. Наступило глубокое молчание, как будто все эти люди затаили дух. Все лица были устремлены на старика, все ожидало. Он взял скрипку и дотронулся смычком до струн. Началась музыка, и я чувствовала, как что-то вдруг сдавило мне сердце. В неистощимой тоске, затаив дыхание, я вслушивалась в эти звуки: что-то знакомое раздавалось в ушах моих, как будто я где-то слышала это; какое-то предчувствие жило в этих звуках, предчувствие чего-то ужасного, страшного, что разрешалось и в моем сердце. Наконец, скрипка зазвенела сильнее; быстрее и пронзительнее раздавались звуки. Вот послышался как будто чей-то отчаянный вопль, жалобный плач, как будто чья-то мольба вотще раздалась во всей этой толпе и заныла, замолкла в отчаянии. Все знакомее и знакомее сказывалось что-то моему сердцу. Но сердце отказывалось верить. Я стиснула зубы, чтоб не застонать от боли, я уцепилась за занавесы, чтоб не упасть... Порой я закрывала глаза и вдруг открывала их, ожидая, что это сон, что я проснусь в какую-то страшную, мне знакомую минуту, и мне снилась та последняя ночь, я слышала те же звуки. Открыв глаза, я хотела увериться, жадно смотрела в толпу, – нет, это были другие люди, другие лица... Мне показалось, что все, как и я, ожидали чего-то, все, как и я, мучились глубокой тоской; казалось, что они все хотели крикнуть этим страшным стоном и воплем, чтоб они замолчали, не терзали их душ, но вопли и стоны лились все тоскливее, жалобнее, продолжительнее. Вдруг раздался последний, страшный, долгий крик, и все во мне потряслось... Сомнения нет! это тот самый, тот крик! Я узнала его, я уже слышала его, он, так же как и тогда, в ту ночь, пронзил мне душу. «Отец! отец!» пронеслось как молния, в голове моей. – «Он здесь, это он, он зовет меня, это его скрипка!» Как будто стон вырвался из всей этой толпы, и страшные рукоплескания потрясли залу. Отчаянный, пронзительный плач вырвался из груди моей. Я не вытерпела более, откинула занавес и бросилась в залу.

– Папа, папа! это ты! где ты? – закричала я, почти не помня себя.

Не знаю, как добежала я до высокого старика: мне давали дорогу, расступались передо мной. Я бросилась к нему с мучительным криком; я думала, что обнимаю отца... Вдруг увидела, что меня схватывают чьи-то длинные, костлявые руки и поднимают на воздух. Чьи-то черные глаза устремились на меня и, казалось, хотели сжечь меня своим огнем. Я смотрела на старика: «Нет! это был не отец; это его убийца!» – мелькнуло в уме моем. Какое-то исступление овладело мной, и вдруг мне показалось, что надо мной раздался его хохот, что этот хохот отдался в зале дружным, всеобщим криком; я лишилась чувств.

V

Это был второй и последний период моей болезни.

Вновь открыв глаза, я увидела склонившееся надо мною лицо ребенка, девочки одних лет со мною, и первым движением моим было протянуть к ней руки. С первого взгляда на нее, – каким-то счастьем, будто сладким предчувствием наполнилась вся душа моя. Представьте себе идеально прелестное личико, поражающую, сверкающую красоту, одну из

таких, перед которыми вдруг останавливаешься как пронзенный, в сладостном смущении, вздрогнув от восторга, и которой благодарен за то, что она есть, за то, что на нее упал ваш взгляд, за то, что она прошла возле вас. Это была дочь князя, Катя, которая только что воротилась из Москвы. Она улыбнулась моему движению и слабые нервы мои заныли от сладостного восторга.

Княжна позвала отца, который был в двух шагах и говорил с доктором.

— Ну, слава богу! слава богу, — сказал князь, взяв меня за руку, и лицо его засияло неподдельным чувством. — Рад, рад, очень рад, — продолжал он скороговоркой, по всегдашней привычке. — А вот, Катя, моя девочка: познакомьтесь, — вот тебе и подруга. Выздоровлявай скорее, Неточка. Злая этакая, как она меня напугала!..

Выздоровление мое пошло очень скоро. Через несколько дней я уже ходила. Каждое утро Катя подходила к моей постели, всегда — с улыбкой, со смехом, который не сходил с ее губ. Ее появления ждала я как счастья; мне так хотелось поцеловать ее! Но шаловливая девочка приходила едва на несколько минут; посидеть смирно она не могла. Вечно двигаться, бегать, скакать, шуметь и греметь на весь дом было в ней неприменной потребностью. И потому она же с первого раза объявила мне, что ей ужасно скучно сидеть у меня и что потому она будет приходить очень редко, да и то затем, что ей жалко меня, — так уж нечего делать, нельзя не прийти; а что вот когда я выздоровею, так у нас пойдет лучше. И каждое утро первым словом ее было:

— Ну, выздоровела?

И так как я все еще была худа и бледна и улыбка как-то боязливо проглядывала на моем грустном лице, то княжна тотчас же хмурила брови, качала головой и в досаде топала ножкой.

— А ведь я ж тебе сказала вчера, чтоб ты была лучше! Что? тебе, верно, есть не дают?

— Да, мало, — отвечала я робко, потому что уже робела перед ней. Мне из всех сил хотелось ей как можно понравиться, а потому я боялась за каждое свое слово, за каждое движение. Появление ее всегда более и более приводило меня в восторг. Я не спускала с нее глаз, и когда она уйдет, бывало, я все еще смотрю как зачарованная в ту сторону, где она стояла. Она мне стала сниться во сне. А наяву, когда ее не было, я сочиняла целые разговоры с ней, была ее другом, шалила, проказила, плакала вместе с ней, когда нас журили за что-нибудь, — одним словом, мечтала об ней, как влюбленная. Мне ужасно хотелось выздороветь и поскорей пополнеть, как она мне советовала.

Когда, бывало, Катя вбежит ко мне утром и с первого слова крикнет: «Не выздоровела? опять такая же худая!», — то я трусила, как виноватая. Но ничего не могло быть серьезнее удивления Кати, что я не могу поправиться в одни сутки; так что она, наконец, начинала и в самом деле сердиться.

— Ну, так хочешь, я тебе сегодня пирог принесу? — сказала она мне однажды. — Кушай, от этого скоро растолстеешь.

— Принеси, — отвечала я в восторге, что увижу ее еще раз.

Осведомившись о моем здоровье, княжна садилась обыкновенно против меня на стул и начинала рассматривать меня своими черными глазами. И сначала, как знакомилась со мной, она поминутно так осматривала меня с головы до ног с самым наивным удивлением. Но наш разговор не клеился. Я робела перед Катей и перед ее крутыми выходками, тогда как умирала от желания говорить с ней.

— Что ж ты молчишь? — начала Катя после некоторого молчания.

— Что делает папа? — спросила я, обрадовавшись, что есть фраза, с которой можно начинать разговор каждый раз.

— Ничего. Папе хорошо. Я сегодня выпила две чашки чаю, а не одну. А ты сколько?

— Одну.

Опять молчание.

— Сегодня Фальстаф меня хотел укусить.

— Это собака?

– Да, собака. Ты разве не видала?
– Нет, видала.
– А почему ж ты спросила?
И так как я не знала, что отвечать, то княжна опять посмотрела на меня с удивлением.
– Что? тебе весело, когда я с тобой говорю?
– Да, очень весело; приходи чаще.
– Мне так и сказали, что тебе будет весело, когда я буду к тебе приходить, да ты вставай скорее; уж я тебе сегодня принесу пирог... Да что ты все молчишь?
– Так.
– Ты все думаешь, верно?
– Да, много думаю.
– А мне говорят, что я много говорю и мало думаю. Разве говорить худо?
– Нет. Я рада, когда ты говоришь.
– Гм, спрошу у мадам Леотар, она все знает. А о чем ты думаешь?
– Я о тебе думаю, – отвечала я помолчав.
– Это тебе весело?
– Да.
– Стало быть, ты меня любишь?
– Да.
– А я тебя еще не люблю. Ты такая худая! Вот я тебе пирог принесу. Ну, прощай!
И княжна, поцеловав меня почти на лету, исчезла из комнаты.

Но после обеда действительно явился пирог. Она вбежала как исступленная, хохоча от радости, что принесла-таки мне кушанье, которое мне запрещали.

– Ешь больше, ешь хорошенько, это мой пирог, я сама не ела. Ну, прощай! – И только я ее и видала.

Другой раз она вдруг влетела ко мне, тоже не в урочный час, после обеда; черные локоны ее были словно вихрем разметаны, щеки горели как пурпур, глаза сверкали; значит, что она уже бегала и прыгала час или два.

– Ты умеешь в воланы играть? – закричала она запыхавшись, скороговоркой, торопясь куда-то.

– Нет, – отвечала я, ужасно жалея, что не могу сказать: да!

– Экая! Ну, выздоровеешь, выучу. Я только за тем. Я теперь играю с мадам Леотар. Прощай; меня ждут.

Наконец я совсем встала с постели, хотя все еще была слаба и бессильна. Первая идея моя была уж не разлучаться более с Катей. Что-то неудержимо влекло меня к ней. Я едва могла на нее насмотреться, и это удивило Катю. Влечение к ней было так сильно, я шла вперед в новом чувстве моем так горячо, что она не могла этого не заметить, и сначала ей показалось это неслыханной странностью. Помню, что раз, во время какой-то игры, я не выдержала, бросилась ей на шею и начала ее целовать. Она высвободилась из моих объятий, схватила меня за руки и, нахмурив брови, как будто я чем ее обидела, спросила меня:

– Что ты? Зачем ты меня целуешь?

Я смутилась, как виноватая, вздрогнула от ее быстрого вопроса и не отвечала ни слова, княжна вскинула плечиками, в знак неразрешенного недоумения (жест, обратившийся у ней в привычку), пресерьезно сжала свои пухленькие губки, бросила игру и уселась в угол на диване, откуда рассматривала меня очень долго и о чем-то про себя раздумывала, как будто разрешая новый вопрос, внезапно возникший в уме ее. Это тоже была ее привычка во всех затруднительных случаях. В свою очередь и я очень долго не могла привыкнуть к этим резким, крутым проявлениям ее характера.

Сначала я обвиняла себя и подумала, что во мне действительно очень много странного. Но хотя это было и верно, а все-таки я мучилась недоумением: отчего я не могу с первого раза подружиться с Катей и понравиться ей раз навсегда. Неудачи мои оскорбляли меня до боли, и я готова была плакать от каждого скорого слова Кати, от каждого недоверчивого

взгляда ее. Но горе мое усиливалось не по дням, а по часам, потому что с Катей всякое дело шло очень быстро. Через несколько дней я заметила, что она совсем невзлюбила меня и даже начинала чувствовать ко мне отвращение. Все в этой девочке делалось скоро, резко, – иной бы сказал – грубо, если б в этих быстрых как молния движениях характера прямого, наивно-откровенного не было истинной, благородной грации. Началось тем, что она почувствовала ко мне сначала сомнение, а потом даже презрение, кажется, сначала за то, что я решительно не умела играть ни в какую игру. Княжна любила резвиться, бегать, была сильна, жива, ловка; я – совершенно напротив. Я была слаба еще от болезни, тиха, задумчива; игра не веселила меня; одним словом, во мне решительно не доставало способностей понравиться Кате. Кроме того, я не могла вынести, когда мною чем-нибудь недовольны: тотчас же становилась грустна, упадала духом, так что уж и сил не доставало загладить свою ошибку и переделать в свою пользу невыгодное обо мне впечатление, – одним словом, погибала вполне. Этого Катя никак не могла понять. Сначала она даже пугалась меня, рассматривала меня с удивлением, по своему обыкновению, после того как, бывало, целый час бьется со мной, показывая, как играют в воланы, и не добьется толку. А так как я тотчас же становилась грустна, так что слезы готовы были хлынуть из глаз моих, то она, подумав надо мной раза три и не добившись толку ни от меня, ни от размышлений своих, бросала меня наконец совершенно и начинала играть одна, уж более не приглашая меня, даже не говоря со мной в целые дни ни слова. Это меня так поражало, что я едва выносила ее пренебрежение. Новое одиночество стало для меня чуть ли не тяжелее прежнего, и я опять начала грустить, задумываться, и опять черные мысли облегли мое сердце.

Мадам Леотар, надзиравшая за нами, заметила наконец эту перемену в наших сношениях. И так как прежде всего я бросилась ей на глаза и мое вынужденное одиночество поразило ее, то она и обратилась прямо к княжне, жуя ее за то, что она не умеет обходиться со мною. Княжна нахмурила бровки, вскинула плечиками и объявила, что ей со мной нечего делать, что я не умею играть, что я о чем-то все думаю и что лучше она подождет брата Сашу, который приедет из Москвы, и тогда им обоим будет гораздо веселее.

Но мадам Леотар не удовольствовалась таким ответом и заметила ей, что она меня оставляет одну, тогда как я еще больна, что я не могу быть такой же веселой и резвой, как Катя, что это, впрочем, и лучше, потому что Катя слишком резва, что она то-то сделала, это-то сделала, что третьего дня ее чуть было бульдог не заел, – одним словом, мадам Леотар побранила ее не жалея; кончила же тем, что послала ее ко мне с приказанием помириться немедленно.

Катя слушала мадам Леотар с большим вниманием, как будто действительно поняла что-то новое и справедливое в резонах ее. Бросив обруч, который она гоняла по зале, она подошла ко мне и, серьезно посмотрев на меня, спросила с удивлением:

– Вы разве хотите играть?

– Нет, – отвечала я, испугавшись за себя и за Катю, когда ее бранила мадам Леотар.

– Чего ж вы хотите?

– Я посижу; мне тяжело бегать; а только вы не сердитесь на меня, Катя, потому что я вас очень люблю.

– Ну, так я и буду играть одна, – тихо и с расстановкой отвечала Катя, как бы с удивлением замечая, что, выходит, она не виновата. – Ну, прощайте, я на вас не буду сердиться.

– Прощайте, – отвечала я, встав и подавая ей руку.

– Может быть, вы хотите поцеловаться? – спросила она, немного подумав, вероятно припомнив нашу недавнюю сцену и желая сделать мне как можно более приятного, чтоб поскорее и согласно кончить со мною.

– Как вы хотите, – отвечала я с робкой надеждой.

Она подошла ко мне и пресерьезно, не улынувшись, поцеловала меня. Таким образом кончив все, что от нее требовали, даже сделав больше, чем было нужно, чтоб доставить полное удовольствие бедной девочке, к которой ее посылали, она побежала от меня

довольная и веселая, и скоро по всем комнатам снова раздавался ее смех и крик, до тех пор пока, утомленная, едва переводя дух, бросилась она на диван отдыхать и собираться с свежими силами. Во весь вечер посматривала она на меня подозрительно: вероятно, я казалась ей очень чудной и странной. Видно было, что ей хотелось о чем-то заговорить со мной, разъяснить себе какое-то недоумение, возникшее насчет меня; но в этот раз, я не знаю почему, она удержалась. Обыкновенно по утрам начинались уроки Кати. Мадам Леотар учила ее французскому языку. Все ученье состояло в повторении грамматики и в чтении Лафонтена. Ее не учили слишком многому, потому что едва добились от нее согласия просидеть в день за книгой два часа времени. На этот уговор она наконец согласилась по просьбе отца, по приказанию матери и исполняла его очень совестливо, потому что сама дала слово. У ней были редкие способности; она понимала быстро и скоро. Но и тут в ней были маленькие странности: если она не понимала чего, то тотчас же начинала думать об этом сама и терпеть не могла идти за объяснениями, – она как-то стыдилась этого. Рассказывали, что она по целым дням иногда билась над каким-нибудь вопросом, который не могла решить, сердилась, что не могла одолеть его сама, без чужой помощи, и только в последних случаях, уже совсем выбившись из сил, приходила к мадам Леотар с просьбою помочь ей разрешить вопрос, который ей не давался. То же было в каждом поступке. Она уж много думала, хотя это вовсе не казалось так с первого взгляда. Но вместе с тем она была не по летам наивна: иной раз ей случалось спросить какую-нибудь совершенную глупость; другой раз в ее ответах являлись самая дальновидная тонкость и хитрость.

Так как я тоже могла наконец чем-нибудь заниматься, то мадам Леотар, проэкзаменировав меня в моих познаниях и найдя, что я читаю очень хорошо, пишу очень худо, признала за немедленную и крайнюю необходимость учить меня по-французски.

Я не возражала, и мы в одно утро засели, вместе с Катей, за учебный стол. Случись же, что в этот раз Катя, как нарочно, была чрезвычайно тупа и до крайности рассеянна, так что мадам Леотар не узнавала ее. Я же, почти в один сеанс, знала уже всю французскую азбуку, как можно желая угодить мадам Леотар своим прилежанием. К концу урока мадам Леотар совсем рассердилась на Катю.

– Смотрите на нее, – сказала она, указывая на меня, – больной ребенок, учится в первый раз и вдесятеро больше вас сделала. Вам это не стыдно?

– Она знает больше меня? – спросила в изумлении Катя. – Да она еще азбуку учит!

– Вы во сколько времени азбуку выучили?

– В три урока.

– А она в один. Стало быть, она втрое скорее вас понимает и мигом вас перегонит. Так ли?

Катя подумала немного и вдруг покраснела как полымя, уверясь, что замечание мадам Леотар справедливо. Покраснеть, сгореть от стыда – было ее первым движением почти при каждой неудаче, в досаде ли, от гордости ли, когда ее уличали за шалости, – одним словом, почти во всех случаях. В этот раз почти слезы выступили на глазах ее, но она смолчала и только так посмотрела на меня, как будто желала сжечь меня взглядом. Я тотчас догадалась, в чем дело. Бедняжка была горда и самолюбива до крайности. Когда мы пошли от мадам Леотар, я было заговорила, чтоб рассеять поскорей ее досаду и показать, что я вовсе не виновата в словах француженки, но Катя промолчала, как будто не слыхала меня.

Через час она вошла в ту комнату, где я сидела за книгой, все раздумывая о Кате, пораженная и испуганная тем, что она опять не хочет со мной говорить. Она посмотрела на меня исподлобья, уселась, по обыкновению, на диване и полчаса не спускала с меня глаз. Наконец я не выдержала и взглянула на нее вопросительно.

– Вы умеете танцевать? – спросила Катя.

– Нет, не умею.

– А я умею.

Молчание.

– А на фортепиано играете?

– Тоже нет.
– А я играю. Этому очень трудно выучиться.
Я смолчала.

– Мадам Леотар говорит, что вы умнее меня.
– Мадам Леотар на вас рассердилась, – отвечала я.
– А разве папа будет тоже сердиться?
– Не знаю, – отвечала я.

Опять молчание; княжна в нетерпении била по полу своей маленькой ножкой.

– Так вы надо мной будете смеяться, оттого что лучше меня понимаете? – спросила она наконец, не выдержав более своей досады.

– Ох, нет, нет! – закричала я и вскочила с места, чтоб броситься к ней и обнять ее.

– И вам не стыдно так думать и спрашивать об этом, княжна? – раздался вдруг голос мадам Леотар, которая уже пять минут наблюдала за нами и слышала наш разговор. – Стыдитесь! вы стали завидовать бедному ребенку и хвалиться перед ней, что умеете танцевать и играть на фортепьяно. Стыдно; я все расскажу князю.

Щеки княжны загорелись как зарево.

– Это дурное чувство. Вы ее обидели своими вопросами. Родители ее были бедные люди и не могли ей нанять учителей; она сама училась, потому что у ней хорошее, доброе сердце. Вы бы должны были любить ее, а вы хотите с ней ссориться. Стыдитесь, стыдитесь! Ведь она – сиротка. У ней нет никого. Еще бы вы похвалились перед ней, что вы княжна, а она нет. Я вас оставляю одну. Подумайте о том, что я вам говорила, исправьтесь.

Княжна думала ровно два дня! Два дня не было слышно ее смеха и крика. Проснувшись ночью, я подслушала, что она даже во сне продолжает рассуждать с мадам Леотар. Она даже похудела немного в эти два дня, и румянец не так живо играл на ее светленьком личике. Наконец, на третий день, мы обе сошлись внизу, в больших комнатах. Княжна шла от матери, но, увидев меня, остановилась и села недалеко, напротив. Я со страхом ожидала, что будет, дрожала всеми членами.

– Неточка, за что меня бранили за вас? – спросила она наконец.

– Это не за меня, Катенька, – отвечала я, спеша оправдаться.

– А мадам Леотар говорит, что я вас обидела.

– Нет, Катенька, нет, вы меня не обидели.

Княжна вскинула плечиками в знак недоумения.

– Отчего ж вы все плачете? – спросила она после некоторого молчания.

– Я не буду плакать, если вы хотите, – отвечала я сквозь слезы.

Она опять пожала плечами.

– Вы и прежде все плакали?

Я не отвечала.

– Зачем вы у нас живете? – спросила вдруг княжна помолчав.

Я посмотрела на нее в изумлении, и как будто что-то кольнуло мне в сердце.

– Оттого, что я сиротка, – ответила я наконец, собравшись с духом.

– У вас были папа и мама?

– Были.

– Что они, вас не любили?

– Нет... любили, – отвечала я через силу.

– Они были бедные?

– Да.

– Очень бедные?

– Да.

– Они вас ничему не учили?

– Читать учили.

– У вас были игрушки?

– Нет.

- Пирожное было?
- Нет.
- У вас было сколько комнат?
- Одна.
- Одна комната?
- Одна.
- А слуги были?
- Нет, не было слуг.
- А кто ж вам служил?
- Я сама покупать ходила.

Вопросы княжны все больше и больше растрavляли мне сердце. И воспоминания, и мое одиночество, и удивление княжны – все это поражало, обижало мое сердце, которое обливалоcь кровью. Я вся дрожала от волнения и задыхалась от слез.

- Вы, стало быть, рады, что у нас живете?

Я молчала.

- У вас было платье хорошее?

– Нет.

- Дурное?

– Да.

- Я видела ваше платье, мне его показывали.

– Зачем же вы меня спрашиваете? – сказала я, вся задрожав от какого-то нового, неведомого для меня ощущения и подымаясь с места. – Зачем же вы меня спрашиваете? – продолжала я, покраснев от негодования. – Зачем вы надо мной смеетесь?

Княжна вспыхнула и тоже встала с места, но мигом преодолела свое волнение.

– Нет... я не смеюсь, – отвечала она. – Я только хотела знать, правда ли, что папа и мама у вас были бедны?

– Зачем вы спрашиваете меня про папу и маму? – сказала я, заплакав от душевной боли. – Зачем вы так про них спрашиваете? Что они вам сделали, Катя?

Катя стояла в смущении и не знала, что отвечать. В эту минуту вошел князь.

– Что с тобой, Неточка? – спросил он, взглянув на меня и увидев мои слезы, – что с тобой? – продолжал он, взглянув на Катю, которая была красна как огонь, – о чем вы говорили? За что вы поссорились? Неточка, за что вы поссорились?

Но я не могла отвечать. Я схватила руку князя и со слезами целовала ее.

- Катя, не лги. Что здесь было?

Катя лгать не умела.

– Я сказала, что видела, какое у нее было дурное платье, когда еще она жила с папой и мамой.

- Кто тебе показывал? Кто смел показать?

- Я сама видела, – отвечала Катя решительно.

- Ну, хорошо! Ты не скажешь на других, я тебя знаю. Что ж дальше?

- А она заплакала и сказала: зачем я смеюсь над папой и над мамой.

- Стало быть, ты смеялась над ними?

Хоть Катя и не смеялась, но, зная, в ней было такое намерение, когда я с первого разу так поняла. Она не отвечала ни слова: значит, тоже соглашалась в проступке.

- Сейчас же подойдем к ней и проси у нее прощения, – сказал князь, указав на меня.

Княжна стояла бледная как платок и не двигаясь с места.

- Ну! – сказал князь.

- Я не хочу, – проговорила наконец Катя вполголоса и с самым решительным видом.

- Катя!

– Нет, не хочу, не хочу! – закричала она вдруг, засверкав глазками и затопав ногами. – Не хочу, папа, прощения просить. Я не люблю ее. Я не буду с нею вместе жить... Я не виновата, что она целый день плачет. Не хочу, не хочу!

– Пойдем со мной, – сказал князь, схватил ее за руку и повел к себе в кабинет. – Неточка, ступай наверх.

Я хотела броситься к князю, хотела просить за Катю, но князь строго повторил свое приказание, и я пошла наверх, похолодев от испуга как мертвая. Придя в нашу комнату, я упала на диван и закрыла руками голову. Я считала минуты, ждала Катю с нетерпением, хотела броситься к ногам ее. Наконец она воротилась, не сказав мне ни слова, прошла мимо меня и села в угол. Глаза ее были красны, щеки опухли от слез. Вся решимость моя исчезла. Я смотрела на нее в страхе и от страха не могла двинуться с места.

Я всеми силами обвиняла себя, всеми силами старалась доказать себе, что я во всем виновата. Тысячу раз хотела я подойти к Кате и тысячу раз останавливалась, не зная, как она меня примет. Так прошел день, другой. К вечеру другого дня Катя сделалась веселей и погнала было свой обруч по комнатам, но скоро бросила свою забаву и села одна в угол. Перед тем как ложиться спать, она вдруг оборотилась было ко мне, даже сделала ко мне два шага, и губки ее раскрылись сказать мне что-то такое, но она остановилась, воротилась и легла в постель. За тем днем прошел еще день, и удивленная мадам Леотар начала наконец допрашивать Катю: что с ней сделалось? не больна ли она, что вдруг затихла? Катя отвечала что-то, взялась было за волан, но только что отворотилась мадам Леотар, – покраснела и заплакала. Она выбежала из комнаты, чтоб я не видала ее. И наконец все разрешилось: ровно через три дня после нашей ссоры она вдруг после обеда вошла в мою комнату и робко приблизилась во мне.

– Папа приказал, чтоб я у вас прощенья просила, – проговорила она, – вы меня простите?

Я быстро схватила Катю за обе руки и, задыхаясь от волнения, сказала:

– Да! да!

– Папа приказал поцеловаться с вами, – вы меня поцелуете?

В ответ я начала целовать ее руки, обливая их слезами. Взглянув на Катю, я увидела в ней какое-то необыкновенное движение. Губки ее слегка потрогивались, подбородок вздрагивал, глазки повлажнели, но она мигом преодолела свое волнение, и улыбка на миг проглянула на губах ее.

– Пойду скажу папе, что я вас поцеловала и просила прощения, – сказала она потихоньку, как бы размышляя сама с собою. – Я уже его три дня не видала; он не велел и входить к себе без того, – прибавила она помолчав.

И, проговорив это, она робко и задумчиво сошла вниз, как будто еще не уверилась: каков будет прием отца.

Но через час наверху раздался крик, шум, смех, лай Фальстафа, что-то опрокинулось и разбилось, несколько книг полетело на пол, обруч загудел и запрыгал по всем комнатам, – одним словом, я узнала, что Катя помирилась с отцом, и сердце мое задрожало от радости.

Но ко мне она не подходила и видимо избегала разговоров со мною. Взамен того я имела честь в высшей степени возбудить ее любопытство. Сиделась она напротив меня, чтоб удобнее меня рассмотреть, все чаще и чаще. Наблюдения ее надо мной делались наивнее; одним словом, избалованная, самовластная девочка, которую все баловали и лелеяли в доме, как сокровище, не могла понять, каким образом я уже несколько раз встречалась на ее пути, когда она вовсе не хотела встречать меня. Но это было прекрасное, доброе маленькое сердце, которое всегда умело сыскать себе добрую дорогу уже одним инстинктом. Всего более влияния имел на нее отец, которого она обожала. Мать безумно любила ее, но была с нею ужасно строга, и у ней переняла Катя упрямство, гордость и твердость характера, но переносила на себе все прихоти матери, доходившие даже до нравственной тирании. Княгиня как-то странно понимала, что такое воспитание, и воспитание Кати было странным контрастом беспутного баловства и неумолимой строгости. Что вчера позволялось, то вдруг, без всякой причины, запрещалось сегодня, и чувство справедливости оскорблялось в ребенке... Но впереди еще эта история. Замечу только, что ребенок уже умел определить свои отношения к матери и отцу. С последним она была как есть, вся наружу, без утайки,

открыта. С матерью, совершенно напротив, – замкнута, недоверчива и беспрекословно послушна. Но послушание ее было не по искренности и убеждению, а по необходимой системе. Я объяснюсь впоследствии. Впрочем, к особенной чести моей Кати скажу, что она поняла наконец свою мать, и когда подчинилась ей, то уже вполне осмыслив всю безграничность любви ее, доходившей иногда до болезненного иступления, – и княжна великодушно ввела в свой расчет последнее обстоятельство. Увы! этот расчет мало помог потом ее горячей головке!

Но я почти не понимала, что со мной делается. Все во мне волновалось от какого-то нового, необъяснимого ощущения, и я не преувеличу, если скажу, что страдала, терзалась от этого нового чувства. Короче – и пусть простят мне мое слово – я была влюблена в мою Катю. Да, это была любовь, настоящая любовь, любовь со слезами и радостями, любовь страстная. Что влекло меня к ней? отчего родилась такая любовь? Она началась с первого взгляда на нее, когда все чувства мои были сладко поражены видом прелестного как ангел ребенка. Все в ней было прекрасно; ни один из пороков ее не родился вместе с нею, – все были привиты и все находились в состоянии борьбы. Всюду видно было прекрасное начало, принявшее на время ложную форму; но все в ней, начиная с этой борьбы, сияло отрадною надеждой, все предвещало прекрасное будущее. Все любовались ею, все любили ее, не я одна. Когда, бывало, нас выводили часа в три гулять, все прохожие останавливались как пораженные, едва только взглядывали на нее, и нередко крик изумления раздавался вслед счастливому ребенку. Она родилась на счастье, она должна была родиться для счастья – вот было первое впечатление при встрече с нею. Может быть, во мне первый раз поражено было эстетическое чувство, чувство изящного, первый раз сказалось оно, пробужденное красотой, и – вот вся причина зарождения любви моей.

Главным пороком княжны или, лучше сказать, главным началом ее характера, которое неудержимо старалось воплотиться в свою натуральную форму и, естественно, находилось в состоянии склоненном, в состоянии борьбы, – была гордость. Эта гордость доходила до наивных мелочей и впадала в самолюбие до того, что, например, противоречие, каково бы оно ни было, не обижало, не сердило ее, но только удивляло. Она не могла постигнуть, как может быть что-нибудь иначе, нежели как бы она захотела. Но чувство справедливости всегда брало верх в ее сердце. Если убеждалась она, что она несправедлива, то тотчас же подчинялась приговору безропотно и неколебимо. И если до сих пор в отношениях со мною изменяла она себе, то я объясняю все это непостижимой антипатией но мне, помутившей на время стройность и гармонию всего ее существа; так и должно было быть: она слишком страстно шла в своих увлечениях, и всегда только пример, опыт выводил ее на истинный путь. Результаты всех ее начинаний были прекрасны и истинны, но покупались беспрерывными уклонениями и заблуждениями.

Катя очень скоро удовлетворила свои наблюдения надо мною и наконец решила оставить меня в покое. Она сделала так, как будто меня и не было в доме; мне – ни слова лишнего, даже почти необходимого; я устранена от игр и устранена не насильно, но так ловко, как будто бы я сама на то согласилась. Уроки шли своим чередом, и если меня ставили ей в пример за понятливость и тихость характера, то я уже не имела чести оскорблять ее самолюбия, которое было чрезвычайно щекотливо, до того, что его мог оскорбить даже бульдог наш, сэр Джон Фальстаф. Фальстаф был хладнокровен и флегматик, но зол как тигр, когда его раздражали, зол даже до отрицания власти хозяина. Еще черта: он решительно никого не любил; но самым сильным, натуральным врагом его была, бесспорно, старушка княжна... Но эта история еще впереди. Самолюбивая Катя всеми средствами старалась победить нелюбезность Фальстафа; ей было неприятно, что есть хоть одно животное в доме, единственное, которое не признает ее авторитета, ее силы, не склоняется перед нею, не любит ее. И вот княжна порешила атаковать Фальстафа сама. Ей хотелось над всеми повелевать и властвовать; как же мог Фальстаф избежать своей участи? Но непреклонный бульдог не сдавался.

Раз, после обеда, когда мы обе сидели внизу, в большой зале, бульдог расположился

среди комнаты и лениво наслаждался своим послеобеденным кейфом. В эту самую минуту княжна вздумалось завоевать его в свою власть. И вот она бросила свою игру и на цыпочках, лаская и приголубливая Фальстафа самыми нежными именами, приветливо маня его рукой, начала осторожно приближаться к нему. Но Фальстаф еще издали оскалил свои страшные зубы; княжна остановилась. Все намерение ее состояло в том, чтоб, подойдя к Фальстафу, погладить его, чего он решительно не позволял никому, кроме княгини, у которой был фаворитом, и заставить его идти за собой: подвиг трудный, сопряженный с серьезной опасностью, потому что Фальстаф никак не затруднился бы отгрызть у ней руку или растерзать ее, если б нашел это нужным. Он был силен как медведь, и я с беспокойством, со страхом следила издали за проделками Кати. Но ее нелегко было переубедить с первого раза, и даже зубы Фальстафа, которые он пренеучтиво показывал, были решительно недостаточным к тому средством. Убедясь, что подойти нельзя с первого раза, княжна в недоумении обошла кругом своего неприятеля. Фальстаф не двинулся с места. Катя сделала второй круг, значительно уменьшив его поперечник, потом третий, но когда дошла до того места, которое казалось Фальстафу заветной чертой, он снова оскалил зубы. Княжна топнула ножкой, отошла в досаде и раздумье и уселась на диван.

Минут через десять она выдумала новое обольщение, тотчас же вышла и воротилась с запасом кренделей, пирожков, — одним словом, переменяла оружие. Но Фальстаф был хладнокровен, потому, вероятно, что был слишком сыт. Он даже и не взглянул на кусок кренделя, который ему бросили; когда же княжна снова очутилась у заветной черты, которую Фальстаф считал своей границей, последовала оппозиция, в этот раз позначительнее первой. Фальстаф поднял голову, оскалил зубы, слегка заворчал и сделал легкое движение, как будто собирался рвануться с места. Княжна покраснела от гнева, бросила пирожки и снова уселась на место.

Она сидела вся в решительном волнении. Ее ножка била ковер, щечки краснели как зарево, а в глазах даже выступили слезы досады. Случись же, что она взглянула на меня, — вся кровь бросилась ей в голову. Она решительно вскочила с места и самую твердую поступью пошла прямо к страшной собаке.

Может быть, в этот раз изумление подействовало на Фальстафа слишком сильно. Он пустил врага за черту и только уже в двух шагах приветствовал безрассудную Катю самым зловещим рычанием. Катя остановилась было на минуту, но только на минуту, и решительно ступила вперед. Я обомлела от испуга. Княжна была воодушевлена, как я еще никогда ее не видала; глаза ее блистали победой, торжеством. С нее можно было рисовать чудную картинку. Она смело вынесла грозный взгляд взбешенного бульдога и не дрогнула перед его страшной пастью; он привстал. Из мохнатой груди его раздалось ужасное рыкание; еще минута, и он бы растерзал ее. Но княжна гордо положила на него свою маленькую ручку и три раза с торжеством погладила его по спине. Мгновение бульдог был в нерешимости. Это мгновение было самое ужасное; но вдруг он тяжело поднялся с места, потянулся и, вероятно взяв в соображение, что с детьми не стоило связываться, преспокойно вышел из комнаты. Княжна с торжеством стала на завоеванном месте и бросила на меня неизъяснимый взгляд, взгляд пресыщенный, упоенный победою. Но я была бледна как платок; она заметила и улыбнулась. Однако смертная бледность уже покрывала и ее щеки. Она едва могла дойти до дивана и упала на него чуть не в обмороке.

Но влечение мое к ней уже не знало пределов. С этого дня, как я вытерпела за нее столько страха, я уже не могла владеть собою. Я изнывала в тоске, тысячу раз готова была броситься к ней на шею, но страх приковывал меня, без движения, на месте. Помню, я старалась убежать ее, чтоб она не видала моего волнения, но когда она нечаянно входила в ту комнату, в которую я спрячусь, я вздрагивала и сердце начинало стучать так, что голова кружилась. Мне кажется, моя проказница это заметила и дня два была сама в каком-то смущении. Но скоро она привыкла и к этому порядку вещей. Так прошел целый месяц, который я весь протравила втихомолку. Чувства мои обладают какою-то необъяснимою растяжимостью, если можно так выразиться; моя натура терпелива до последней степени,

так что взрыв, внезапное проявление чувств бывает только уж в крайности. Нужно знать, что во все это время мы сказали с Катей не более пяти слов; но я мало-помалу заметила, по некоторым неуловимым признакам, что все это происходило в ней не от забвения, не от равнодушия ко мне, а от какого-то намеренного уклонения, как будто она дала себе слово держать меня в известных пределах. Но я уже не спала по ночам, а днем не могла скрыть своего смущения даже от мадам Леотар. Любовь моя к Кате доходила даже до странностей. Один раз я украдкой взяла у ней платок, в другой раз ленточку, которую она вплетала в волосы, и по целым ночам целовала их, обливаясь слезами. Сначала меня мучило до обиды равнодушие Кати; но теперь все во мне помутилось, и я сама не могла дать себе отчета в своих ощущениях. Таким образом, новые впечатления мало-помалу вытесняли старые, и воспоминания о моем грустном прошедшем потеряли свою болезненную силу и сменились во мне новой жизнью.

Помню, я иногда просыпалась ночью, вставала с постели и на цыпочках подходила к княжне. Я заглядывалась по целым часам на спящую Катю при слабом свете ночной нашей лампы; иногда садилась к ней на кровать, нагибалась к лицу ее, и на меня веяло ее горячим дыханием. Тихонько, дрожа от страха, целовала я ее ручки, плечики, волосы, ножку, если ножка выглядывала из-под одеяла. Мало-помалу я заметила, – так как я уже не спускала с нее глаз целый месяц, – что Катя становится со дня на день задумчивее; характер ее стал терять свою ровность: иногда целый день не слышишь ее шума, другой раз подымается такой гам, какого еще никогда не было. Она стала раздражительна, взыскательна, краснела и сердилась очень часто и даже со мной доходила до маленьких жестокостей: то вдруг не захочет обедать возле меня, близко сидеть от меня, как будто чувствует ко мне отвращение; то вдруг уходит к матери и сидит там по целым дням, может быть зная, что я иссыхаю без нее с тоски; то вдруг начнет смотреть на меня по целым часам, так что я не знаю, куда деваться от убийственного смущения, краснею, бледнею, а между тем не смею выйти из комнаты. Два раза уже Катя жаловалась на лихорадку, тогда как прежде не помнили за ней никакой болезни. Наконец вдруг в одно утро последовало особое распоряжение: по неперемennomу желанию княжны, она переселилась вниз, к маменьке, которая чуть не умерла от страха, когда Катя пожаловалась на лихорадку. Нужно сказать, что княгиня была очень недовольна мною и всю перемену в Кате, которую и она замечала, приписывала мне и влиянию моего угрюмого характера, как она выражалась, на характер своей дочери. Она уже давно разлучила бы нас, но откладывала до времени, зная, что придется выдержать серьезный спор с князем, который хотя и уступал ей во всем, но иногда становился неуступчив и упрям до непоколебимости. Она же понимала князя вполне.

Я была поражена переселением княжны и целую неделю провела в самом болезненном напряжении духа. Я мучилась тоскою, ломая голову над причинами отвращения Кати во мне. Грусть разрывала мою душу, и чувство справедливости и негодования начало восставать в моем оскорбленном сердце. Какая-то гордость вдруг родилась во мне, и когда мы сходились с Катей в тот час, когда нас уводили гулять, я смотрела на нее так независимо, так серьезно, так непохоже на прежнее, что это даже поразило ее. Конечно, такие перемены происходили во мне только порывами, и потом сердце опять начинало болеть сильнее и сильнее, и я становилась еще слабее, еще малодушнее, чем прежде. Наконец в одно утро, к величайшему моему недоумению и радостному смущению, княжна воротилась вверх. Сначала она с безумным смехом бросилась на шею к мадам Леотар и объявила, что опять к нам переезжает, потом кивнула и мне головой, выпросила позволение ничему не учиться в это утро и все утро прорезвилась и пробегала. Я никогда не видала ее живее и радостнее. Но к вечеру она сделалась тиха, задумчива и снова какая-то грусть отенила ее прелестное личико. Когда княгиня пришла вечером посмотреть на нее, я видела, что Катя делает неестественные усилия казаться веселою. Но, вслед за уходом матери, оставшись одна, она вдруг ударилась в слезы. Я была поражена. Княжна заметила мое внимание и вышла. Одним словом, в ней приготовлялся какой-то неожиданный кризис. Княгиня советовалась с докторами, каждый день призывала к себе мадам Леотар для самых мелких расспросов о Кате; велено было

наблюдать за каждым движением ее. Одна только я предчувствовала истину, и сильно забилося мое сердце надеждою.

Словом, маленький роман разрешался и приходил к концу. На третий день после возвращения Кати к нам наверх я заметила, что она все утро глядит на меня такими чудными глазками, такими долгими взглядами... Несколько раз я встречала эти взгляды, и каждый раз мы обе краснели и потуплялись, как будто стыдились друг друга. Наконец княжна засмеялась и пошла от меня прочь. Ударило три часа, и нас стали одевать для прогулки. Вдруг Катя подошла ко мне.

– У вас башмак развязался, – сказала она мне, – давайте я завяжу.

Я было нагнулась сама, покраснев как вишня оттого, что наконец-то Катя заговорила со мной.

– Давай! – сказала она мне нетерпеливо и засмеявшись. Тут она нагнулась, взяла насильно мою ногу, поставила к себе на колено и завязала. Я задыхалась; я не знала, что делать от какого-то сладостного испуга. Кончив завязывать башмак, она встала и оглядела меня с ног до головы.

– Вот и горло открыто, – сказала она, дотронувшись пальчиком до обнаженного тела на моей шее. – Да уж давай я сама завяжу.

Я не противоречила. Она развязала мой шейный платочек и повязала по-своему.

– А то можно кашель нажать, – сказала она, прелукаво улыбнувшись и сверкнув на меня своими черными влажными глазками.

Я была вне себя; я не знала, что со мной делается и что сделалось с Катей. Но, слава богу, скоро кончилась наша прогулка, а то я бы не выдержала и бросилась бы целовать ее на улице. Входя на лестницу, мне удалось, однако ж, поцеловать ее украдкой в плечо. Она заметила, вздрогнула, но не сказала ни слова. Вечером ее нарядили и повели вниз. У княгини были гости. Но в этот вечер в доме произошла страшная суматоха.

С Катей сделался нервный припадок. Княгиня была вне себя от испуга. Приехал доктор и не знал, что сказать. Разумеется, все свалили на детские болезни, на возраст Кати, но я подумала иное. Наутро Катя явилась к нам такая же, как всегда, румяная, веселая, с неистощимым здоровьем, но с такими причудами и капризами, каких с ней никогда не бывало.

Во-первых, она все утро не слушалась мадам Леотар. Потом вдруг ей захотелось идти к старушке княжне. Против обыкновения, старушка, которая терпеть не могла свою племянницу, была с нею в постоянной ссоре и не хотела видеть ее, – на этот раз как-то разрешила принять ее. Сначала все пошло хорошо, и первый час они жили согласно. Плутовка Катя вздумала просить прощения за все свои проступки, за резвость, за крик, за то, что княжне она не давала покою. Княжна торжественно и со слезами простила ее. Но шалунье вздумалось зайти далеко. Ей пришлось на ум рассказать такие шалости, которые были еще только в одних замыслах и проектах. Катя прикинулась смиренницей, постницей и вполне раскаивающейся; одним словом, ханжа была в восторге и много льстила ее самолюбию предстоявшая победа над Катей – сокровищем, идолом всего дома, которая умела заставить даже свою мать исполнять свои прихоти.

И вот проказница призналась, во-первых, что у нее было намерение приклеить к платью княжны визитную карточку; потом засадить Фальстафа к ней под кровать; потом сломать ее очки, унести все ее книги и принести вместо них от мамы французских романов; потом достать хлопушек и разбросать по полу; потом спрятать ей в карман колоду карт и т. д. и т. д. Одним словом, шли шалости одна хуже другой. Старуха выходила из себя, бледнела, краснела от злости; наконец Катя не выдержала, захохотала и убежала от тетки. Старуха немедленно послала за княгиней. Началось целое дело, и княгиня два часа, со слезами на глазах, умоляла свою родственницу простить Катю и позволить ее не наказывать, взяв в соображение, что она больна. Княжна слушать не хотела сначала; она объявила, что завтра же выедет из дому, и смягчилась тогда только, когда княгиня дала слово, что отложит наказание до выздоровления дочери, а потом удовлетворит справедливому негодованию

престарелой княжны. Однако ж Катя выдержала строгий выговор. Ее увели вниз, к княгине.

Но проказница вырвалась-таки после обеда. Пробираясь вниз, сама я встретила ее уже на лестнице. Она приотворила дверь и звала Фальстафа. Я мигом догадалась, что она замышляет страшное мщение. Дело было вот в чем.

Не было врага у старушки княжны непримиримее Фальстафа. Он не ласкался ни к кому, не любил никого, но был спесив, горд и амбициозен до крайности. Он не любил никого, но, видимо, требовал от всех должного уважения. Все и питали его к нему, примешивая к уважению надлежащий страх. Но вдруг, с приездом старушки княжны, все переменилось: Фальстафа страшно обидели, – именно: ему был формально запрещен вход наверх.

Сначала Фальстаф был вне себя от оскорбления и целую неделю скреб лапами дверь, которою оканчивалась лестница, ведущая сверху в нижнюю комнату; но скоро он догадался о причине изгнания, и в первое же воскресенье, когда старушка княжна выходила в церковь, Фальстаф с визгом и лаем бросился на бедную. Насилу спасли ее от лютого мщения оскорбленного пса, ибо он выгнан был по приказанию княжны, которая объявила, что не может видеть его. С тех пор вход наверх запрещен был Фальстафу самым строжайшим образом, и когда княжна сходила вниз, то его угоняли в самую отдаленную комнату. Строжайшая ответственность лежала на слугах. Но мстительное животное нашло-таки средство раза три ворваться наверх. Лишь только он врывался на лестницу, как мигом бежал через всю анфиладу комнат до самой опочивальни старушки. Ничто не могло удержать его. По счастью, дверь к старушке была всегда заперта, и Фальстаф ограничивался тем, что завывал перед нею ужасно, до тех пор пока не прибежали люди и не сгоняли его вниз. Княжна же, во все время визита неукротимого бульдога, кричала, как будто бы ее уж съели, и серьезно каждый раз делалась больна от страха. Несколько раз она предлагала свой ultimum княгине и даже доходила до того, что раз, забывшись, сказала, что или она, или Фальстаф выйдут из дома, но княгиня не согласилась на разлуку с Фальстафом.

Княгиня мало кого любила, но Фальстафа, после детей, более всех на свете, и вот почему. Однажды, лет шесть назад, князь воротился с прогулки, приведя за собою щенка грязного, больного, самой жалкой наружности, но который, однако ж, был бульдог самой чистой крови. Князь как-то спас его от смерти. Но так как новый жилец вел себя примерно неучтиво и грубо, то, по настоянию княгини, был удален на задний двор и посажен на веревку. Князь не прекословил. Два года спустя, когда весь дом жил на даче, маленький Саша, младший брат Кати, упал в Неву. Княгиня вскрикнула, и первым движением ее было кинуться в воду за сыном. Ее насилу спасли от верной смерти. Между тем ребенка уносило быстро течением, и только одежда его всплывала наверх. Наскоро стали отвязывать лодку, но спасение было бы чудом. Вдруг огромный, исполинский бульдог бросается в воду наперерез утопающему мальчику, схватывает его в зубы и победоносно выплывает с ним на берег. Княгиня бросилась целовать грязную, мокрую собаку. Но Фальстаф, который еще носил тогда прозаическое и в высшей степени плебейское наименование Фриксы, терпеть не мог ничьих ласк и отвечал на объятия и поцелуи княгини тем, что прокусил ей плечо во сколько хватило зубов. Княгиня всю жизнь страдала от этой раны, но благодарность ее была беспредельна. Фальстаф был взят во внутренние покои, вычищен, вымыт и получил серебряный ошейник высокой отделки. Он поселился в кабинете княгини, на великолепной медвежьей шкуре, и скоро княгиня дошла до того, что могла его гладить, не опасаясь немедленного и скорого наказания. Узнав, что любимца ее зовут Фриксой, она пришла в ужас, и немедленно стали приискивать новое имя, по возможности древнее. Но имена Ректор, Цербер и проч. были уже слишком опошлены; требовалось название, вполне приличное фавориту дома. Наконец князь, взяв в соображение феноменальную прозорливость Фриксы, предложил назвать бульдога Фальстафом. Кличка была принята с восторгом и осталась навсегда за бульдогом. Фальстаф повел себя хорошо: как истый англичанин, был молчалив, угрюм и ни на кого не бросался первый, только требовал, чтоб почтительно обходили его место на медвежьей шкуре и вообще оказывали должное

уважение. Иногда на него находил как будто родимец, как будто сплин одолевал его, и в эти минуты Фальстаф с горестию припоминал, что враг его, непримиримый его враг, посягнувший на его права, был еще не наказан. Тогда он потихоньку пробирался к лестнице, ведущей наверх, и, найдя, по обыкновению, дверь всегда запертою, ложился где-нибудь неподалеку, прятался в угол и коварно поджидал, когда кто-нибудь оплошает и оставит дверь наверх отпертою. Иногда мстительное животное выжидало по три дня. Но отданы были строгие приказания наблюдать за дверью, и вот уже два месяца Фальстаф не являлся наверх.

– Фальстаф! Фальстаф! – звала княжна, отворив дверь и приветливо заманивая Фальстафа к нам на лестницу.

В это время Фальстаф, почуяв, что дверь отворяют, уже приготовился скакнуть за свой Рубикон. Но призыв княжны показался ему так невозможным, что он некоторое время решительно отказывался верить ушам своим. Он был лукав, как кошка, и чтоб не показать вида, что заметил оплошность отворявшего дверь, подошел к окну, положил на подоконник свои могучие лапы и начал рассматривать противоположное здание, – словом, вел себя как совершенно посторонний человек, который шел прогуливаться и остановился на минуту полюбоваться прекрасной архитектурой соседнего здания. Между тем в сладостном ожидании билось и нежилось его сердце. Каково же было его изумление, радость, иступление радости, когда дверь отворили перед ним всю настежь и, мало того, еще звали, приглашали, умоляли его вступить наверх и немедленно удовлетворить свое справедливое мщение! Он, взвизгнув от радости, оскалил зубы и, страшный, победоносный, бросился наверх как стрела.

Напор его был так силен, что встретившийся на его дороге стул, задетый им на лету, отскочил на сажень и перевернулся на месте. Фальстаф летел как ядро, вырвавшееся из пушки. Мадам Леотар вскрикнула от ужаса, но Фальстаф уж домчался до заветной двери, ударился в нее обеими лапами, однако ж не отворил ее и завыл как погибший. В ответ ему раздался страшный крик престарелой девы. Но уже со всех сторон бежали целые легионы врагов, целый дом переселился наверх, и Фальстаф, свирепый Фальстаф, с намордником, ловко наброшенным на его пасть, спутанный по всем четырем ногам, бесславно воротился с поля битвы, влекомый вниз на аркане.

Послан был посол за княгиней.

В этот раз княгиня не расположена была прощать и миловать; но кого наказывать? Она догадалась с первого раза, мигом; ее глаза упали на Катю... Так и есть: Катя стоит бледная, дрожа от страха. Она только теперь догадалась, бедненькая, о последствиях своей шалости. Подозрение могло упасть на слуг, на невинных, и Катя уже готова была сказать всю правду.

– Ты виновата? – строго спросила княгиня.

Я видела смертельную бледность Кати и, ступив вперед, твердым голосом произнесла:

– Я пустила Фальстафа... нечаянно, – прибавила я, потому что вся моя храбрость исчезла перед грозным взглядом княгини.

– Мадам Леотар, накажите примерно! – сказала княгиня и вышла из комнаты.

Я взглянула на Катю: она стояла как ошеломленная; руки ее повисли по бокам; побледневшее личико глядело в землю. Единственное наказание, употреблявшееся для детей князя, было заключение в пустую комнату. Просидеть в пустой комнате часа два – ничего. Но когда ребенка сажали насильно, против его воли, и объявляли, что он лишен свободы, то наказание было довольно значительно. Обыкновенно сажали Катю или брата ее на два часа. Меня посадили на четыре, взяв в соображение всю чудовищность моего преступления. Изнывая от радости, вступила я в свою темницу. Я думала о княжне. Я знала, что победила. Но вместо четырех часов я просидела до четырех утра. Вот как это случилось.

Через два часа после моего заключения мадам Леотар узнала, что приехала ее дочь из Москвы, вдруг заболела и желает ее видеть. Мадам Леотар уехала, позабыв обо мне. Девушка, ходившая за нами, вероятно, предположила, что я уже выпущена. Катя была отозвана вниз и принуждена была просидеть у матери до одиннадцати часов вечера.

Воротясь, она чрезвычайно изумилась, что меня нет на постели. Девушка раздела ее, уложила, но княжна имела свои причины не спрашивать обо мне. Она легла, поджидая меня, зная наверно, что я арестована на четыре часа, и полагая, что меня приведет наша няня. Но Настя забыла про меня совершенно, тем более что я раздевалась всегда сама. Таким образом, я осталась ночевать под арестом.

В четыре часа ночи услышала я, что стучат и ломятся в мою комнату. Я спала, улегшись кое-как на полу, проснулась и закричала от страха, но тотчас же отличила голос Кати, который раздавался громче всех, потом голос мадам Леотар, потом испуганной Насти, потом ключницы. Наконец отворили дверь, и мадам Леотар обняла меня со слезами на глазах, прося простить ее за то, что она обо мне позабыла. Я бросилась к ней на шею, вся в слезах. Я продрогла от холода, и все кости болели у меня от лежания на голом полу. Я искала глазами Катю, но она побежала в нашу спальню, прыгнула в постель, и когда я вошла, она уже спала или притворялась спящею. Поджидая меня с вечера, она невзначай заснула и проспала до четырех часов утра. Когда же проснулась, подняла шум, целый содом, разбудила воротившуюся мадам Леотар, няню, всех девушек и освободила меня.

Наутро все в доме узнали о моем приключении; даже княгиня сказала, что со мной поступили слишком строго. Что же касается до князя, то в этот день я его видела, в первый раз в жизни, рассерженным. Он вошел наверх в десять часов утра в сильном волнении.

– Помилуйте, – начал он к мадам Леотар, – что вы делаете? Как вы поступили с бедным ребенком? Это варварство, чистое варварство, скифство! Больной, слабый ребенок, такая мечтательная, пугливая девочка, фантазерка, и посадить ее в темную комнату, на целую ночь! Но это значит губить ее! Разве вы не знаете ее истории? Это варварство, это бесчеловечно, я вам говорю, сударыня! И как можно такое наказание? кто изобрел, кто мог изобрести такое наказание?

Бедная мадам Леотар, со слезами на глазах, в смущении начала объяснять ему все дело, сказала, что она забыла обо мне, что к ней приехала дочь, но что наказание само в себе хорошее, если продолжается недолго, и что даже Жан-Жак Руссо говорит нечто подобное.

– Жан-Жак Руссо, сударыня! Но Жан-Жак не мог говорить этого. Жан-Жак не авторитет. Жан-Жак Руссо не смел говорить о воспитании, не имел права на то. Жан-Жак Руссо отказался от собственных детей, сударыня! Жан-Жак дурной человек, сударыня!

– Жан-Жак Руссо! Жан-Жак дурной человек! Князь! Князь! что вы говорите.

И мадам Леотар вся вспыхнула.

Мадам Леотар была чудесная женщина и прежде всего не любила обижаться; но затронуть кого-нибудь из любимцев ее, потревожить классическую тень Корнеля, Расина, оскорбить Вольтера, назвать Жан-Жака Руссо дурным человеком, назвать его варваром, – боже мой! Слезы выступили из глаз мадам Леотар; старушка дрожала от волнения.

– Вы забываетесь, князь! – проговорила она наконец вне себя от волнения.

Князь тотчас же спохватился и попросил прощения, потом подошел ко мне, поцеловал меня с глубоким чувством, перекрестил и вышел из комнаты.

– *Raivte prince!*⁵ – сказала мадам Леотар, расчувствовавшись в свою очередь. Потом мы сели за классный стол.

Но княжна училась очень рассеянно. Перед тем как идти к обеду, она подошла ко мне, вся разгоревшись, со смехом на губах, остановилась против меня, схватила меня за плечи и сказала торопливо, как будто чего-то стыдась:

– Что? насиделась вчера за меня? После обеда пойдем играть в залу.

Кто-то прошел мимо нас, и княжна мигом отвернулась от меня.

После обеда, в сумерки, мы обе сошли вниз в большую залу, схватившись за руки. Княжна была в глубоком волнении и тяжело переводила дух. Я была радостна и счастлива, как никогда не бывала.

⁵ Бедный князь!

– Хочешь в мяч играть? – сказала она мне. – Становись здесь!

Она поставила меня в одном углу залы, но сама, вместо того чтоб отойти и бросить мне мяч, остановилась в трех шагах от меня, взглянула на меня, покраснела и упала на диван, закрыв лицо обеими руками. Я сделала движение к ней; она думала, что я хочу уйти.

– Не ходи, Неточка, побудь со мной, – сказала она, – это сейчас пройдет.

Но мигом она вскочила с места и, вся раскрасневшись, вся в слезах, бросилась мне на шею. Щеки ее были влажны, губки вспухли, как вишенки, локоны рассыпались в беспорядке. Она целовала меня как безумная, целовала мне лицо, глаза, губы, шею, руки; она рыдала как в истерике; я крепко прижалась к ней, и мы сладко, радостно обнялись, как друзья, как любовники, которые свиделись после долгой разлуки. Сердце Кати билось так сильно, что я слышала каждый удар.

Но в соседней комнате раздался голос. Звали Катю к княгине.

– Ах, Неточка! Ну! до вечера, до ночи! Ступай теперь наверх, жди меня.

Она поцеловала меня последний раз тихо, неслышно, крепко и бросилась от меня на зов Насти. Я прибежала наверх как воскресшая, бросилась на диван, спрятала в подушки голову и зарыдала от восторга. Сердце колотилось, как будто грудь хотело пробить. Не помню, как дожила я до ночи. Наконец пробило одиннадцать, и я легла спать. Княжна воротилась только в двенадцать часов; она издали улыбнулась мне, но не сказала ни слова. Настя стала ее раздевать и как будто нарочно медлила.

– Скорее, скорее, Настя! – бормотала Катя.

– Что это вы, княжна, верно, бежали по лестнице, что у вас так сердце колотится?.. – спросила Настя.

– Ах, боже мой, Настя! какая скучная! Скорее, скорее! – И княжна в досаде ударила ножкой об пол.

– Ух, какое сердечко! – сказала Настя, поцеловав ножку княжны, которую разувала.

Наконец все было кончено, княжна легла, и Настя вышла из комнаты. Вмиг Катя вскочила с постели и бросилась ко мне. Я вскрикнула, встречая ее.

– Пойдем ко мне, ложись ко мне! – заговорила она, подняв меня с постели. Мгновенье спустя я была в ее постели, мы обнялись и жадно прижались друг к другу. Княжна зацеловала меня в пух.

– А ведь я помню, как ты меня ночью целовала! – сказала она, покраснев как мак.

Я рыдала.

– Неточка! – прошептала Катя сквозь слезы, – ангел ты мой, я ведь тебя так давно, так давно уж люблю! Знаешь, с которых пор?

– Когда?

– Как папа приказал у тебя прощения просить, тогда как ты за своего папу заступилась, Неточка... Си-ро-точка ты моя! – протянула она, снова осыпая меня поцелуями. Она плакала и смеялась вместе.

– Ах, Катя!

– Ну, что? ну, что?

– Зачем мы так долго... так долго... – и я не договорила.

Мы обнялись и минуты три не говорили ни слова.

– Послушай, ты что, думала про меня? – спросила княжна.

– Ах, как много думала, Катя! все думала, и день и ночь думала.

– И ночью про меня говорила, я слышала.

– Неужели?

– Плакала сколько раз.

– Видишь! Что ж ты все была такая гордая?

– Я ведь была глупа, Неточка. Это на меня так придет, и кончено. Я все зла была на тебя.

– За что?

– За то, что сама дурная была. Прежде за то, что ты лучше меня; потом за то, что тебя

папа больше любит. А папа добрый человек, Неточка! да?

– Ах, да! – отвечала я со слезами, вспомнив про князя.

– Хороший человек, – серьезно сказала Катя, – да что мне с ним делать? он все такой... Ну, а потом стала у тебя прощения просить и чуть не заплакала, и за это опять рассердилась.

– А я-то видела, а я-то видела, что ты плакать хотела.

– Ну, молчи ты, дурочка, плакса такая сама! – крикнула на меня Катя, зажав мне рот рукою. – Слушай, мне очень хотелось любить тебя, а потом вдруг ненавидеть захочется, и так ненавижу, так ненавижу!..

– За что же?

– Да уж я сердита на тебя была. Не знаю за что! А потом я и увидела, что ты без меня жить не можешь, и думаю: вот уж замучу я ее, скверную!

– Ах, Катя!

– Душка моя! – сказала Катя, целуя мне руку. – Ну, а потом я с тобой говорить не хотела, никак не хотела. А помнишь, Фальстафку я гладила?

– Ах ты, бесстрашная!

– Как я тру...си...ла-то, – протянула княжна. – Ты знаешь ли, почему я к нему пошла?

– Почему?

– Да ты смотрела. Когда увидела, что ты смотришь... ах! будь что будет, да и пошла. Испугала я тебя, а? Боялась ты за меня?

– Ужась!

– Я видела. А уж я-то как рада была, что Фальстафка ушел! Господи, как я трусила потом, как он ушел, чу...до...вище этакое!

И княжна захохотала нервическим смехом; потом вдруг приподняла свою горячую голову и начала пристально глядеть на меня. Слезинки, как жемчужинки, дрожали на ее длинных ресницах.

– Ну, что в тебе есть, что я тебя так полюбила? Ишь, бледненькая, волосы белокуренькие, сама глупенькая, плакса такая, глаза голубенькие, си...ро...точка ты моя!!!

И Катя нагнулась опять без счету целовать меня. Несколько капель ее слез упали на мои щеки. Она была глубоко растрогана.

– Ведь как любила-то тебя, а все думаю – нет да нет! не скажу ей! И ведь как упрямылась! Чего я боялась, чего я стыдилась тебя! Ведь смотри, как нам теперь хорошо!

– Катя! больно мне как! – сказала я, вся в исступлении от радости. – Душу ломит!

– Да, Неточка! Слушай дальше... да, слушай, кто тебя Неточкой прозвал?

– Мама.

– Ты мне все про маму расскажешь?

– Все, все, – отвечала я с восторгом.

– А куда ты два платка мои дела, с кружевами? а ленту зачем унесла? Ах ты, бесстыдница! Я ведь это знаю.

Я засмеялась и покраснела до слез.

– Нет, думаю: помучу ее, подождет. А иной раз думаю: да я ее вовсе не люблю, я ее терпеть не могу. А ты все такая кроткая, такая овечка ты моя! А ведь как я боялась, что ты думаешь про меня, что я глупа! Ты умна, Неточна, ведь ты очень умна? а?

– Ну, что ты, Катя! – отвечала я, чуть не обидевшись.

– Нет, ты умна, – сказала Катя решительно и серьезно, – это я знаю. Только раз я утром встала и так тебя полюбила, что ужас! Ты мне во всю ночь снилась. Думаю, я к маме буду проситься и там буду жить. Не хочу я ее любить, не хочу! А на следующую ночь засыпаю и думаю: кабы она пришла, как и в прошлую ночь, а ты и пришла! Ах, как я притворялась, что сплю... Ах, какие мы бесстыдницы, Неточка!

– Да за что ж ты меня все любить не хотела?

– Так... да что я говорю! ведь я тебя все любила! все любила! Уж потом и терпеть не могла; думаю, зацелую я ее когда-нибудь или исциплю всю до смерти. Вот тебе, глупенькая ты этакая!

И княжна ущипнула меня.

– А помнишь, я тебе башмак подвязывала?

– Помню.

– Помню; хорошо тебе было? Смотрю я на тебя: экая милочка, думаю: дай я ей башмак подвяжу, что она будет думать! Да так мне самой хорошо стало. И ведь, право, хотела поцеловаться с тобою... да и не поцеловала. А потом так смешно стало, так смешно! И всю дорогу, как гуляли вместе, так вот вдруг и хочу захохотать. На тебя смотреть не могу, так смешно. А ведь как я рада была, что ты за меня в темницу пошла!

Пустая комната называлась «темницей».

– А ты струсила?

– Ужас как струсила.

– Да не тому еще рада, что ты на себя сказала, а рада тому была, что ты за меня посидишь! Думаю: плачет она теперь, а я-то ее как люблю! Завтра буду ее так целовать, так целовать! И ведь не жалко, ей-богу, не жалко было тебя, хоть я и поплакала.

– А я-то вот и не плакала, нарочно рада была.

– Не плакала? ах ты злая! – закричала княжна, всасываясь в меня своими губками.

– Катя, Катя! Боже мой, какая ты хорошенькая!

– Не правда ли? Ну, теперь что хочешь со мной, то и делай! Тирань меня, щипли меня! Пожалуйста, ущипни меня! Голубчик мой, ущипни!

– Шалунья!

– Ну, еще что?

– Дурочка...

– А еще?

– А еще поцелуй меня.

И мы целовались, плакали, хохотали; у нас губы распухли от поцелуев.

– Неточка! во-первых, ты всегда будешь ко мне спать приходить. Ты целоваться любишь? И целоваться будем. Потом я не хочу, чтоб ты была такая скучная. Отчего тебе скучно было? Ты мне расскажешь, а?

– Все расскажу; но мне теперь не скучно, а весело!

– Нет, уж будут у тебя румяные щеки, как у меня! Ах, кабы завтра поскорей пришло! Тебе хочется спать, Неточка?

– Нет.

– Ну, так давай говорить.

И часа два мы еще поболтали. Бог знает, чего мы не переговорили. Во-первых, княжна сообщила мне все свои планы для будущего и настоящее положение вещей. И вот я узнала, что папу она любит больше всех, почти больше меня. Потом мы порешили обе, что мадам Леотар прекрасная женщина и что она вовсе не строгая. Далее, мы тут же выдумали, что мы будем делать завтра, послезавтра, и вообще рассчитали жизнь чуть ли не на двадцать лет. Катя выдумала, что мы будем так жить: она мне будет один день приказывать, а я все исполнять, а другой день наоборот – я приказывать, а она беспрекословно слушаться; а потом мы обе будем поровну друг другу приказывать; а там кто-нибудь нарочно не послушается, так мы сначала поссоримся, так, для виду, а потом как-нибудь поскорее помиримся. Одним словом, нас ожидало бесконечное счастье. Наконец мы утомились болтать, у меня закрывались глаза. Катя смеялась надо мной, что я соня, и сама заснула прежде меня. Наутро мы проснулись разом, поцеловались наскоро, потому что к нам входили, и я успела добежать до своей кровати.

Весь день мы не знали, что делать друг с другом от радости. Мы все прятались и бегали от всех, более всего опасаясь чужого глаза. Наконец я начала ей свою историю. Катя потрясена была до слез моим рассказом.

– Злая, злая ты этакая! Для чего ты мне раньше всего не сказала? Я бы тебя так любила, так любила! И больно тебя мальчики били на улице?

– Больно. Я так боялась их!

– Ух, злые! Знаешь, Неточка, я сама видела, как один мальчик другого на улице бил. Завтра я тихонько возьму Фальстафкину плетку, и уж если один встретится такой, я его так прибью, так прибью!

Глазки ее сверкали от негодования.

Мы пугались, когда кто-нибудь входил. Мы боялись, чтоб нас не застали, когда мы целуемся. А целовались мы в этот день по крайней мере сто раз. Так прошел этот день и следующий. Я боялась умереть от восторга, задыхалась от счастья. Но счастье наше продолжалось недолго.

Мадам Леотар должна была доносить о каждом движении княжны. Она наблюдала за нами целые три дня, и в эти три дня у ней накопилось много чего рассказать. Наконец она пошла к княгине и объявила ей все, что подметила, – что мы обе в каком-то исступлении, уже целых три дня не разлучаемся друг с другом, поминутно целуемся, плачем, хохочем как безумные, – как безумные без умолку болтаем, тогда как этого прежде не было, что она не знает, чему приписать это все, но ей кажется, что княжна в каком-нибудь болезненном кризисе, и, наконец, ей кажется, что нам лучше видеться пореже.

– Я давно это думала, – отвечала княгиня, – уж я знала, что эта странная сиротка наделает нам хлопот. Что мне рассказали про нее, про прежнюю жизнь ее, – ужас, настоящий ужас! Она имеет очевидное влияние на Катю. Вы говорите, Катя очень любит ее?

– Без памяти.

Княгиня покраснела от досады. Она уже ревновала ко мне свою дочь.

– Это ненатурально, – сказала она. – Прежде они были так чужды друг другу, и, признаюсь, я этому радовалась. Как бы ни была мала эта сиротка, но я ни за что не ручаюсь. Вы меня понимаете? Она уже с молоком всосала свое воспитание, свои привычки и, может быть, правила. И не понимаю, что находит в ней князь? Я тысячу раз предлагала отдать ее в пансион.

Мадам Леотар вздумала было за меня заступиться, но княгиня уже решила нашу разлуку. Тотчас прислали за Катей и уж внизу объявили ей, что она со мной не увидится до следующего воскресенья, то есть ровно неделю.

Я узнала про все поздно вечером и была поражена ужасом; я думала о Кате, и мне казалось, что она не перенесет нашей разлуки. Я приходила в исступление от тоски, от горя и в ночь заболела; наутро пришел ко мне князь и шепнул, чтоб я надеялась. Князь употребил все свои усилия, но все было тщетно: княгиня не изменяла намерения. Мало-помалу я стала приходить в отчаяние, у меня дух захватывало от горя.

На третий день, утром, Настя принесла мне записку от Кати. Катя писала карандашом, страшными каракулями, следующее:

«Я тебя очень люблю. Сижу с татап и все думаю, как к тебе убежать. Но я убегу – я сказала, и потому не плачь. Напиши мне, как ты меня любишь. А я тебя обнимала всю ночь во сне, ужасно страдала, Неточка. Посылаю тебе конфет. Прощай».

Я отвечала в этом же роде. Весь день проплакала я над запиской Кати. Мадам Леотар замучила меня своими ласками. Вечером я узнала, она пошла к князю и сказала, что я непременно буду больна в третий раз, если не увижусь с Катей, и что она раскаивается, что сказала княгине. Я расспрашивала Настю: что с Катей? Она отвечала мне, что Катя не плачет, но ужасно бледна.

Наутро Настя шепнула мне:

– Ступайте в кабинет к его сиятельству. Спуститесь по лестнице, которая справа.

Все во мне оживилось предчувствием. Задыхаясь от ожидания, я сбежала вниз и отворила дверь в кабинет. Ее не было. Вдруг Катя обхватила меня сзади и горячо поцеловала. Смех, слезы... Мигом Катя вырвалась из моих объятий, вскарабкалась на отца, вскочила на его плечи, как белка, но, не удержавшись, прыгнула с них на диван. За нею упал и князь. Княжна плакала от восторга.

– Папа, какой ты хороший человек, папа!

– Шалуны вы! что с вами сделалось? что за дружба? что за любовь?

– Молчи, папа, ты наших дел не знаешь.

И мы снова бросились в объятия друг к другу.

Я начала рассматривать ее ближе. Она похудела в три дня. Румянец слинял с ее личика, и бледность прокрадывалась на его место. Я заплакала с горя.

Наконец постучалась Настя. Знак, что схватились Кати и спрашивают. Катя побледнела как смерть.

– Полно, дети. Мы каждый день будем сходитьсь. Прощайте, и да благословит вас господь! – сказал князь.

Он был растроган, на нас глядя; но рассчитал очень худо. Вечером из Москвы пришло известие, что маленький Саша внезапно заболел и при последнем издыхании. Княгиня положила отправиться завтра же. Это случилось так скоро, что я ничего и не знала до самого прощания с княжной. На прощанье настоял сам князь, и княгиня едва согласилась. Княжна была как убитая. Я сбегала вниз не помня себя и бросилась к ней на шею. Дорожная карета уж ждала у подъезда. Катя вскрикнула, глядя на меня, и упала без чувств. Я бросилась целовать ее. Княгиня стала приводить ее в память. Наконец она очнулась и обняла меня снова.

– Прощай, Неточка! – сказала она мне, вдруг засмеявшись, с неизъяснимым движением в лице. – Ты не смотри на меня; это так; я не больна, а приеду через месяц опять. Тогда мы не разойдемся.

– Довольно, – сказала княгиня спокойно, – едем!

Но княжна воротилась еще раз. Она судорожно сжала меня в объятиях.

– Жизнь моя! – успела она прошептать, обнимая меня. – До свиданья!

Мы поцеловались в последний раз, и княжна исчезла – надолго, очень надолго. Прошло восемь лет до нашего свиданья!

Я нарочно рассказала так подробно этот эпизод моего детства, первого появления Кати в моей жизни. Но наши истории нераздельны. Ее роман – мой роман. Как будто суждено мне было встретить ее; как будто суждено ей было найти меня. Да и я не могла отказать себе в удовольствии перенестись еще раз воспоминанием в мое детство... Теперь рассказ мой пойдет быстрее. Жизнь моя вдруг впала в какое-то затишье, и я как будто очнулась вновь, когда мне уж минуло шестнадцать лет...

Но – несколько слов о том, что случилось со мною по отъезде княжеского семейства в Москву.

Мы остались с мадам Леотар.

Через две недели приехал нарочный и объявил, что поездка в Петербург отлагается на неопределенное время. Так как мадам Леотар, по семейным обстоятельствам, не могла ехать в Москву, то должность ее в доме князя кончилась; но она осталась в том же семействе и перешла к старшей дочери княгини, Александре Михайловне.

Я еще ничего не сказала про Александру Михайловну, да и видела я ее всего один раз. Она была дочь княгини еще от первого мужа. Происхождение и родство княгини было какое-то темное; первый муж ее был откупщик. Когда княгиня вышла замуж вторично, то решительно не знала, что ей делать со старшею дочерью. На блестящую партию она надеяться не могла. Приданое же давали за нею умеренное; наконец, четыре года назад, сумели выдать ее за человека богатого и в значительных чинах. Александра Михайловна поступила в другое общество и увидела кругом себя другой свет. Княгиня посещала ее в год по два раза; князь, вотчим ее, посещал ее каждую неделю вместе с Катей. Но в последнее время княгиня не любила пускать Катю к сестре, и князь возил ее потихоньку. Катя обожала сестру. Но они составляли целый контраст характеров. Александра Михайловна была женщина лет двадцати двух, тихая, нежная, любящая; словно какая-то затаенная грусть, какая-то скрытая сердечная боль сурово оттеняли прекрасные черты ее. Серьезность и суровость как-то не шли к ее ангельски ясным чертам, словно траур к ребенку. Нельзя было взглянуть на нее, не почувствовав к ней глубокой симпатии. Она была бледна и, говорили,

склонна к чахотке, когда я ее первый раз видела. Жила она очень уединенно и не любила ни съездов у себя, ни выездов в люди, – словно монастырка. Детей у нее не было. Помню, она приехала к мадам Леотар, подошла во мне и с глубоким чувством поцеловала меня. С ней был один худощавый довольно пожилой мужчина. Он прослезился, на меня глядя. Это был скрипач Б. Александра Михайловна обняла меня и спросила, хочу ли я жить у нее и быть ее дочерью. Посмотрев ей в лицо, я узнала сестру моей Кати и обняла ее с глухой болью в сердце, от которой заныла вся грудь моя... как будто кто-то еще раз произнес надо мною: «Сиротка!» Тогда Александра Михайловна показала мне письмо от князя. В нем было несколько строк ко мне, и я прочла их с глухими рыданиями. Князь благословлял меня на долгую жизнь и на счастье и просил любить другую дочь его. Катя приписала мне тоже несколько строк. Она писала, что не разлучается теперь с матерью!

И вот вечером я вошла в другую семью, в другой дом, к новым людям, в другой раз оторвав сердце от всего, что мне стало так мило, что было уже для меня родное. Я приехала вся измученная, истерзанная от душевной тоски... Теперь начинается новая история.

VI

Новая жизнь моя пошла так безмятежно и тихо, как будто я поселилась среди затворников... Я прожила у моих воспитателей с лишком восемь лет и не помню, чтоб во все это время, кроме каких-нибудь нескольких раз, в доме был званый вечер, обед или как бынибудь собрались родные, друзья и знакомые. Исключая двух-трех лиц, которые езжали изредка, музыканта Б., который был другом дома, да тех, которые бывали у мужа Александры Михайловны, почти всегда по делам, в наш дом более никто не являлся. Муж Александры Михайловны постоянно был занят делами и службою и только изредка мог выгадывать хоть сколько-нибудь свободного времени, которое и делилось поровну между семейством и светскою жизнью. Значительные связи, которыми пренебрегать было невозможно, заставляли его довольно часто напоминать о себе в обществе. Почти всюду носилась молва о его неограниченном честолюбии; но так как он пользовался репутацией человека делового, серьезного, так как он занимал весьма видное место, а счастье и удача как будто сами ловили его на дороге, то общественное мнение далеко не отнимало у него своей симпатии. Даже было и более. К нему все постоянно чувствовали какое-то особенное участие, в котором, обратно, совершенно отказывали жене его. Александра Михайловна жила в полном одиночестве; но она как будто и рада была тому. Ее тихий характер как будто создан был для затворничества.

Она привязана была ко мне всей душой, полюбила меня, как родное дитя свое, и я, еще с неостывшими слезами от разлуки с Катей, еще с болевшим сердцем, жадно бросилась в материнские объятия моей благодетельницы. С тех пор горячая моя любовь к ней не прерывалась. Она была мне мать, сестра, друг, заменила мне все на свете и взлелеяла мою юность. К тому же я скоро заметила инстинктом, предчувствием, что судьба ее вовсе не так красна, как о том можно было судить с первого взгляда по ее тихой, казавшейся спокойною, жизни, по видимой свободе, по безмятежно-ясной улыбке, которая так часто светлела на лице ее, и потому каждый день моего развития объяснял мне что-нибудь новое в судьбе моей благодетельницы, что-то такое, что мучительно и медленно угадывалось сердцем моим, и вместе с грустным сознанием все более и более росла и крепла моя к ней привязанность.

Характер ее был робок, слаб. Смотря на ясные, спокойные черты лица ее, нельзя было предположить с первого раза, чтоб какая-нибудь тревога могла смутить ее праведное сердце. Помыслить нельзя было, чтоб она могла не любить хоть кого-нибудь; сострадание всегда брало в ее душе верх даже над самым отвращением, а между тем она привязана была к немногим друзьям и жила в полном уединении... Она была страстна и впечатлительна по натуре своей, но в то же время как будто сама боялась своих впечатлений, как будто каждую минуту стерегла свое сердце, не давая ему забыться, хотя бы в мечтанье. Иногда вдруг, среди самой светлой минуты, я замечала слезы в глазах ее: словно внезапное тягостное

воспоминание чего-то мучительно терзавшего ее совесть вспыхивало в ее душе; как будто что-то стерегло ее счастье и враждебно смущало его. И чем, казалось, счастливее была она, чем покойнее, яснее была минута ее жизни, тем ближе была тоска, тем вероятнее была внезапная грусть, слезы: как будто на нее находил припадок. Я не запомню ни одного спокойного месяца в целые восемь лет. Муж, по-видимому, очень любил ее; она обожала его. Но с первого взгляда казалось, как будто что-то было недосказано между ними. Какая-то тайна была в судьбе ее; по крайней мере я начала подозревать с первой минуты...

Муж Александры Михайловны с первого раза произвел на меня угрюмое впечатление. Это впечатление зародилось в детстве и уже никогда не изглаживалось. С виду это был человек высокий, худой и как будто с намерением скрывавший свой взгляд под большими зелеными очками. Он был несообщителен, сух и даже глаз на глаз с женой как будто не находил темы для разговора. Он, видимо, тяготился людьми. На меня он не обращал никакого внимания, а между тем я каждый раз, когда, бывало, вечером все трое сойдемся в гостиной Александры Михайловны пить чай, была сама не своя во время его присутствия. Украдкой взглядывала я на Александру Михайловну и с тоскою замечала, что и она вся как будто трепещет пред ним, как будто обдумывает каждое свое движение, бледнеет, если замечает, что муж становится особенно суров и угрюм, или внезапно вся покраснеет, как будто услышав или угадав какой-нибудь намек в каком-нибудь слове мужа. Я чувствовала, что ей тяжело быть с ним вместе, а между тем она, по-видимому, жить не могла без него ни минуты. Меня поражало ее необыкновенное внимание к нему, к каждому его слову, к каждому движению; как будто бы ей хотелось всеми силами в чем-то угодить ему, как будто она чувствовала, что ей не удавалось исполнить своего желания. Она как будто вымаливала у него одобрения: малейшая улыбка на его лице, полслова ласкового – и она была счастлива; точно как будто это были первые минуты еще робкой, еще безнадёжной любви. Она за мужем ухаживала как за трудным больным. Когда же он уходил к себе в кабинет, пожав руку Александры Михайловны, на которую, как мне казалось, смотрел всегда с каким-то тягостным для нее состраданием, она вся переменялась. Движения, разговор ее тотчас же становились веселее, свободнее. Но какое-то смущение еще надолго оставалось в ней после каждого свидания с мужем. Она тотчас же начинала припоминать каждое слово, им сказанное, как будто взвешивая все слова его. Нередко обращалась она ко мне с вопросом: так ли она слышала и так ли именно выразился Петр Александрович? – как будто ища какого-то другого смысла в том, что он говорил, и только, может быть целый час спустя, совершенно ободрялась, как будто убедившись, что он совершенно доволен ею и что она напрасно тревожится. Тогда она вдруг становилась добра, весела, радостна, целовала меня, смеялась со мной или подходила к фортепьяно и импровизировала на них часа два. Но нередко радость ее вдруг прерывалась: она начинала плакать, и когда я смотрела на нее, вся в тревоге, в смущении, в испуге, она тотчас уверяла меня шепотом, как будто боясь, чтоб нас не услышали, что слезы ее так, ничего, что ей весело и чтоб я об ней не мучилась. Случалось, что в отсутствие мужа она вдруг начинала тревожиться, расспрашивать о нем, беспокоиться: посылала узнать, что он делает, разузнавала от своей девушки, зачем приказано подавать лошадей и куда он хочет ехать, не болен ли он, весел или скучен, что говорил и т. д. О делах и занятиях его она как будто не смела с ним сама заговаривать. Когда он советовал ей что-нибудь или просил о чем, она выслушивала его так покорно, так робела за себя, как будто была его раба. Она очень любила, чтоб он похвалил что-нибудь у ней, какую-нибудь вещь, книгу, какое-нибудь ее рукоделье. Она как будто тщеславилась этим и тотчас делалась счастлива. Но радостям ее не было конца, когда он невзначай (что было очень редко) вздумает приласкать малюток детей, которых было двое. Лицо ее преображалось, сияло счастьем, и в эти минуты ей случалось даже слишком увлечься своею радостью перед мужем. Она, например, даже до того простирала смелость, что вдруг сама, без его вызова, предлагала ему, конечно с робостью и трепещущим голосом, чтоб он или выслушал новую музыку, которую она получила, или сказал свое мнение о какой-нибудь книге, или даже позволил ей прочесть себе страницу-другую какого-нибудь автора, который в тот день

произвел на нее особенное впечатление. Иногда муж благосклонно исполнял все желания ее и даже снисходительно ей улыбался, как улыбаются баловнику-дитяти, которому не хотят отказать в иной странной прихоти, боясь преждевременно и враждебно смутить его наивность. Но, не знаю почему, меня до глубины души возмущали эта улыбка, это высокомерное снисхождение, это неравенство между ними; я молчала, удерживалась и только прилежно следила за ними с ребяческим любопытством, но с преждевременно суровой думой. В другой раз я замечала, что он вдруг как будто невольно спохватится, как будто опомнится; как будто он внезапно, через силу и против воли, вспомнит о чем-то тяжелом, ужасном, неизбежном; мигом снисходительная улыбка исчезает с лица его и глаза его вдруг устремляются на оторопевшую жену с таким состраданием, от которого я вздрагивала, которое, как теперь сознаю, если б было ко мне, то я бы измучилась. В ту же минуту радость исчезала с лица Александры Михайловны. Музыка или чтение прерывались. Она бледнела, но крепилась и молчала. Наступала неприятная минута, тоскливая минута, которая иногда долго длилась. Наконец муж прерывал ее. Он подымался с места, как будто через силу подавляя в себе досаду и волнение, и, пройдя несколько раз по комнате в угрюмом молчании, жал руку жене, глубоко вздыхал и, в очевидном смущении, сказав несколько отрывистых слов, в которых как бы проглядывало желание утешить жену, выходил из комнаты, а Александра Михайловна ударялась в слезы или впадала в страшную, долгую грусть. Часто он благословлял и крестил ее, как ребенка, прощаясь с ней с вечера, и она принимала его благословение со слезами благодарности и с благоговением. Но не могу забыть нескольких вечеров в нашем доме (в целые восемь лет – двух-трех, не более), когда Александра Михайловна как будто вдруг вся переменилась. Какой-то гнев, какое-то негодование отражались на обыкновенно тихом лице ее вместо всегдашнего самоуничижения и благоговения к мужу. Иногда целый час приготовлялась гроза; муж становился молчаливее, суровее и угрюмее обыкновенного. Наконец больное сердце бедной женщины как будто не выносило. Она начинала прерывающимся от волнения голосом разговор, сначала отрывистый, бессвязный, полный какие-то намеков и горьких недомолвок; потом, как будто не вынося тоски своей, вдруг разрешалась слезами, рыданиями, а затем следовал взрыв негодования, укоров, жалоб, отчаяния, – словно она впадала в болезненный кризис. И тогда нужно было видеть, с каким терпением выносил это муж, с каким участием склонял ее успокоиться, целовал ее руки и даже, наконец, начинал плакать вместе с нею; тогда вдруг она как будто опомнится, как будто совесть крикнет на нее и уличит в преступлении. Слезы мужа потрясали ее, и она, ломая руки, в отчаянии, с судорожными рыданиями, у ног его вымаливала о прощении, которое тотчас же получала. Но еще надолго продолжались мучения ее совести, слезы и моления простить ее, и еще робче, еще трепетнее становилась она перед ним на целые месяцы. Я ничего не могла понять в этих укорах и упреках; меня же и высылали в это время из комнаты, и всегда очень неловко. Но скрыться совершенно от меня не могли. Я наблюдала, замечала, угадывала, и с самого начала вселилось в меня темное подозрение, что какая-то тайна лежит на всем этом, что эти внезапные взрывы уязвленного сердца не простой нервный кризис, что недаром же всегда хмурен муж, что недаром это как будто двусмысленное сострадание его к бедной, больной жене, что недаром всегдашняя робость и трепет ее перед ним и эта смиренная, странная любовь, которую она даже не смела проявить пред мужем, что недаром это уединение, эта монастырская жизнь, эта краска и эта внезапная смертная бледность на лице ее в присутствии мужа.

Но так как подобные сцены с мужем были очень редки; так как жизнь наша была очень однообразна и я уже слишком близко к ней присмотрелась; так как, наконец, я развивалась и росла очень быстро и много уж начало пробуждаться во мне нового, хотя бессознательного, отвлекавшего меня от моих наблюдений, то я и привыкла наконец к этой жизни, к этим обычаям и к характерам, которые меня окружали. Я, конечно, не могла не задумываться подчас, глядя на Александру Михайловну, но думы мои покамест не разрешались ничем. Я же крепко любила ее, уважала ее тоску и потому боялась смущать ее подымчивое сердце

своим любопытством. Она понимала меня и сколько раз готова была благодарить меня за мою к ней привязанность! То, заметив заботу мою, улыбалась нередко сквозь слезы и сама шутила над частыми слезами своими; то вдруг начнет рассказывать мне, что она очень довольна, очень счастлива, что к ней все так добры, что все те, которых она знала, до сих пор так любили ее, что ее очень мучит то, что Петр Александрович вечно тоскует о ней, о ее душевном спокойствии, тогда как она, напротив, так счастлива, так счастлива!.. И тут она обнимала меня с таким глубоким чувством, такою любовью светилось лицо ее, что сердце мое, если можно сказать, как-то болело сочувствием к ней.

Черты лица ее никогда не изгладятся из моей памяти. Они были правильны, а худоба и бледность, казалось, еще более возвышали строгую прелесть ее красоты. Густейшие черные волосы, зачесанные гладко книзу, бросали суровую, резкую тень на окраины щек; но, казалось, тем любовнее поражал вас контраст ее нежного взгляда, больших детски ясных голубых глаз, робкой улыбки и всего этого кроткого, бледного лица, на котором отражалось подчас так много наивного, несмелого, как бы незащищенного, как будто боявшегося за каждое ощущение, за каждый порыв сердца – и за мгновенную радость, и за частую тихую грусть. Но в иную счастливую, нетревожную минуту в этом взгляде, проникавшем в сердце, было столько ясного, светлого, как день, столько праведно-спокойного; эти глаза, голубые как небо, сияли такою любовью, смотрели так сладко, в них отражалось всегда такое глубокое чувство симпатии ко всему, что было благородно, ко всему, что просило любви, молило о сострадании, – что вся душа покорялась ей, невольно стремилась к ней и, казалось, от нее же принимала и эту ясность, и это спокойствие духа, и примирение, и любовь. Так в иной раз засмотришься на голубое небо и чувствуешь, что готов пробыть целые часы в сладостном созерцании и что свободнее, спокойнее становится в эти минуты душа, точно в ней, как будто в тихой пелене воды, отразился величавый купол небесный. Когда же – и это так часто случалось – одушевление нагоняло краску на ее лицо и грудь ее колыхалась от волнения, тогда глаза ее блестели как молния, как будто метали искры, как будто вся ее душа, целомудренно сохранившая чистый пламень прекрасного, теперь ее воодушевившего, переселялась в них. В эти минуты она была как вдохновенная. И в таких внезапных порывах увлечения, в таких переходах от тихого, робкого настроения духа к просветленному, высокому одушевлению, к чистому, строгому энтузиазму вместе с тем было столько наивного, детски скорого, столько младенческого верования, что художник, кажется, полжизни бы отдал, чтоб подметить такую минуту светлого восторга и перенести это вдохновенное лицо на полотно.

С первых дней моих в этом доме я увидела, что она даже обрадовалась мне в своем уединении. Тогда еще у ней было только одно дитя и только год как она была матерью. Но я вполне была ее дочерью, и различий между мной и своими она делать не могла. С каким жаром она принялась за мое воспитание! Она так заторопилась вначале, что мадам Леотар невольно улыбалась, на нее глядя. В самом деле, мы было взялись вдруг за все, так что и не поняли было друг друга. Например, она взялась учить меня сама и вдруг очень многому, но так многому, что выходило с ее стороны больше горячки, больше жара, более любовного нетерпения, чем истинной пользы для меня. Сначала она была огорчена своим неумением; но, рассмеявшись, мы принялись сызнова, хотя Александра Михайловна, несмотря на первую неудачу, смело объявила себя против системы мадам Леотар. Они спорили, смеясь, но новая воспитательница моя наотрез объявила себя против всякой системы, утверждая, что мы с нею ощупью найдем настоящую дорогу, что нечего мне набивать голову сухими познаниями и что весь успех зависит от уразумения моих инстинктов и от умения возбудить во мне добрую волю, – и она была права, потому что вполне одерживала победу. Во-первых, с самого начала совершенно исчезли роли ученицы и наставницы. Мы учились, как две подруги, и иногда делалось так, что как будто я учила Александру Михайловну, не замечая хитрости. Так между нами часто рождались споры, и я из всех сил горячилась, чтоб доказать дело, как я его понимаю, и незаметно Александра Михайловна выводила меня на настоящий путь. Но кончалось тем, что, когда мы доберемся до истины, я тотчас догадывалась,

изобличала уловку Александры Михайловны, и, взвесив все ее старания со мной, нередко целые часы, пожертвованные таким образом для моей пользы, я бросалась к ней на шею и крепко обнимала ее после каждого урока. Моя чувствительность изумляла и трогала ее даже до недоумения. Она с любопытством начинала расспрашивать о моем прошедшем, желая услышать его от меня, и каждый раз после моих рассказов становилась со мной нежнее и серьезнее, – серьезнее, потому что я, с моим несчастным детством, внушала ей, вместе с состраданием, как будто какое-то уважение. После моих признаний мы пускались обыкновенно в долгие разговоры, которыми она мне же объясняла мое прошлое, так что я действительно как будто вновь переживала его и многому вновь научалась. Мадам Леотар часто находила эти разговоры слишком серьезными и, видя мои невольные слезы, считала их совсем не у места. Я же думала совершенно напротив, потому что после этих *уроков* мне становилось так легко и сладко, как будто и не было в моей судьбе ничего несчастного. Сверх того, я была слишком благодарна Александре Михайловне за то, что с каждым днем она все более и более заставляла так любить себя. Мадам Леотар и невдомек было, что таким образом, мало-помалу, уравнивалось и приходило в стройную гармонию все, что прежде поднималось из души неправильно, преждевременно-бурно и до чего доходило мое детское сердце, все изъязвленное, с мучительной болью, так что несправедливо ожесточалось оно и плакалось на эту боль, не понимая, откуда удары.

День начинался тем, что мы обе сходились в детской у ее ребенка, будили его, одевали, убирали, кормили его, забавляли, учили его говорить. Наконец мы оставляли ребенка и садились за дело. Учились мы многому, но бог знает, какая это была наука. Тут было все, и вместе с тем ничего определенного. Мы читали, рассказывали друг другу свои впечатления, бросали книгу для музыки, и целые часы летели незаметно. По вечерам часто приходил Б., друг Александры Михайловны, приходила мадам Леотар; нередко начинался разговор самый жаркий, горячий об искусстве, о жизни (которую мы в нашем кружке знали только понаслышке), о действительности, об идеалах, о прошедшем и будущем, и мы засиживались за полночь. Я слушала из всех сил, воспалялась вместе с другими, смеялась или была растрогана, и тут-то узнала я в подробности все то, что касалось до моего отца и до моего первого детства. Между тем я росла; мне нанимали учителей, от которых, без Александры Михайловны, я бы ничему не научилась. С учителем географии я бы только ослепла, отыскивая на карте города и реки. С Александрой Михайловной мы пускались в такие путешествия, перебывали в таких странах, видели столько диковин, пережили столько восторженных, столько фантастических часов и так сильно было обоюдное рвение, что книг, прочитанных ею, наконец, решительно не достало: мы принуждены были приняться за новые книги. Скоро я могла сама показывать моему учителю географии, хотя все-таки, нужно отдать ему справедливость, он до конца сохранил передо мной превосходство в полном и совершенно определительном познании градусов, под которыми лежал какой-нибудь городок, и тысяч, сотен и даже тех десятков жителей, которые в нем заключались. Учителю истории платились деньги тоже чрезвычайно исправно; но, по уходе его, мы с Александрой Михайловной историю учили по-своему: брались за книги и зачитывались иногда до глубокой ночи, или, лучше сказать читала Александра Михайловна, потому что она же и держала цензуру. Никогда я не испытывала более восторга, как после этого чтения. Мы одушевлялись обе, как будто сами были героями. Конечно, между строчками читалось больше, чем в строчках; Александра же Михайловна, кроме того, прекрасно рассказывала, так, как будто при ней случилось все, о чем мы читали. Но пусть будет, пожалуй, смешно, что мы так воспалялись и просиживали за полночь, я – ребенок, она – уязвленное сердце, так тяжело переносившее жизнь! Я знала, что она как будто отдыхала подле меня. Припоминаю, что подчас я странно задумывалась, на нее глядя, я угадывала, и, прежде чем я начала жить, я уже угадала многое в жизни.

Наконец мне минуло тринадцать лет. Между тем здоровье Александры Михайловны становилось все хуже и хуже. Она делалась раздражительнее, припадки ее безвыходной грусти ожесточеннее, визиты мужа начались чаще, и просиживал он с нею, разумеется, как и

прежде, почти молча, суровый и хмурый, все больше и больше времени. Ее судьба стала сильнее занимать меня. Я выходила из детства, во мне уж сформировалось много новых впечатлений, наблюдений, увлечений, догадок; ясно, что загадка, бывшая в этом семействе, все более и более стала мучить меня. Были минуты, в которые мне казалось, что я что-то понимаю в этой загадке. В другое время я впадала в равнодушие, в апатию, даже в досаду, и забывала свое любопытство, не находя ни на один вопрос разрешения. Порой – и это случалось все чаще и чаще – я испытывала странную потребность оставаться одной и думать, все думать: моя настоящая минута похожа была на то время, когда еще я жила у родителей и когда вначале, прежде чем сошлась с отцом, целый год думала, соображала, приглядывалась из своего угла на свет божий, так что наконец совсем одичала среди фантастических призраков, мною же созданных. Разница была в том, что теперь было больше нетерпения, больше тоски, более новых, бессознательных порывов, более жажды к движению, к подымчивости, так что сосредоточиться на одном, как было прежде, я не могла. С своей стороны, Александра Михайловна как будто сама стала более удаляться меня. В этом возрасте я уже почти не могла ей быть подругой. Я была не ребенок, я слишком о многом спрашивала и подчас смотрела на нее так, что она должна была потуплять глаза предо мною. Были странные минуты. Я не могла видеть ее слез, и часто слезы накапливались в моих глазах, глядя на нее. Я бросалась к ней на шею и горячо обнимала ее. Что она могла отвечать мне? Я чувствовала, что была ей в тягость. Но в другое время – и это было тяжелое, грустное время – она сама, как будто в каком-то отчаянии, судорожно обнимала меня, как будто искала моего участия, как будто не могла выносить своего одиночества, как будто я уж понимала ее, как будто мы страдали с ней вместе. Но между нами все-таки оставалась тайна, это было очевидно, и я уж сама начала удаляться от нее в эти минуты. Мне тяжело было с ней. Кроме того, нас уж мало что соединяло, одна музыка. Но музыку стали ей запрещать доктора. Книги? Но здесь было всего труднее. Она решительно не знала, как читать со мною. Мы, конечно, остановились бы на первой странице: каждое слово могло быть намеком, каждая незначащая фраза – загадкой. От разговора вдвоем, горячего, душевного, мы обе бежали.

И вот в это время судьба внезапно и неожиданно повернула мою жизнь чрезвычайно странным образом. Мое внимание, мои чувства, сердце, голова – все разом, с напряженной силой, доходившей даже до энтузиазма, обратилось вдруг к другой, совсем неожиданной деятельности, и я сама, не заметив того, вся перенеслась в новый мир; мне некогда было обернуться, осмотреться, одуматься; я могла погибнуть, даже чувствовала это; но соблазн был сильнее страха, и я пошла наудачу, закрывши глаза. И надолго отвлелась я от той действительности, которая так начинала тяготить меня и в которой я так жадно и бесполезно искала выхода. Вот что такое это было и вот как оно случилось.

Из столовой было три выхода: один в большие комнаты, другой в мою и в детские, а третий вел в библиотеку. Из библиотеки был еще другой ход, отделявшийся от моей комнаты только одним рабочим кабинетом, в котором обыкновенно помещался помощник Петра Александровича в делах, его переписчик, его сподручник, бывший в одно и то же время его секретарем и фактором. Ключ от шкафов и библиотеки хранился у него. Однажды, после обеда, когда его не было дома, а нашла этот ключ на полу. Меня взяло любопытство, и, вооружась своей находкой, я вошла в библиотеку. Это была довольно большая комната, очень светлая, уставленная кругом восемью большими шкафами, полными книг. Книг было очень много, и из них большая часть досталась Петру Александровичу как-то по наследству. Другая часть книг собрана была Александрой Михайловной, которая покупала их беспрестанно. До сих пор мне давали читать с большою осмотрительностью, так что я без труда догадалась, что мне многое запрещают и что многое для меня тайна. Вот почему я с неудержимым любопытством, в припадке страха и радости и какого-то особенного, безотчетного чувства, отворила первый шкаф и вынула первую книгу. В этом шкафу были романы. Я взяла один из них, затворила шкаф и унесла к себе книгу с таким странным ощущением, с таким биением и замиранием сердца, как будто я предчувствовала, что в моей

жизни совершается большой переворот. Войдя к себе в комнату, я заперлась и раскрыла роман. Но читать я не могла; у меня была другая забота: мне сначала нужно было уладить прочно и окончательно свое обладание библиотекой, так чтоб никто того не знал и чтоб возможность иметь всякую книгу во всякое время осталась при мне. И потому я отложила свое наслаждение до более удобной минуты, книгу отнесла назад, а ключ утаила у себя. Я утаила его, и это был первый дурной поступок в моей жизни. Я ждала последствий; они уладились чрезвычайно благоприятно: секретарь и помощник Петра Александровича, проискав ключа целый вечер и часть ночи со свечою на полу, решился наутро призвать слесаря, который из связки принесенных им ключей прибрал новый. Тем дело и кончилось, а о пропаже ключа никто более ничего не слышал; я же повела дело так осторожно и хитро, что пошла в библиотеку только чрез неделю, совершенно уверившись в полной безопасности насчет всех подозрений. Сначала я выбирала время, когда секретаря не было дома; потом же стала заходить из столовой, потому что письмоводитель Петра Александровича имел у себя только ключ в кармане, а в дальнейшие сношения с книгами никогда не вступал и потому даже не входил в комнату, в которой они находились.

Я начала читать с жадностью, и скоро чтение увлекло меня совершенно. Все новые потребности мои, все недавние стремления, все еще неясные порывы моего отроческого возраста, так беспокойно и мятежно восставшие было в душе моей, нетерпеливо вызванные моим слишком ранним развитием, — все это вдруг уклонилось в другой, неожиданно представший исход надолго, как будто вполне удовлетворившись новою пищею, как будто найдя себе правильный путь. Скоро сердце и голова моя были так очарованы, скоро фантазия моя развилась так широко, что я как будто забыла весь мир, который доселе окружал меня. Казалось, сама судьба остановила меня на пороге в новую жизнь, в которую я так порывалась, о которой гадала день и ночь, и, прежде чем пустить меня в неведомый путь, взвела меня на высоту, показав мне будущее в волшебной панораме, в заманчивой, блестящей перспективе. Мне суждено было пережить всю эту будущность, вычитав ее сначала из книг, пережить в мечтах, в надеждах, в страстных порывах, в сладостном волнении юного духа. Я начала чтение без разбора, с первой попавшейся мне под руку книги, но судьба хранила меня: то, что я узнала и выжила до сих пор, было так благородно, так строго, что теперь меня не могла уже соблазнить какая-нибудь лукавая, нечистая страница. Меня хранил мой детский инстинкт, мой ранний возраст и все мое прошедшее. Теперь же сознание как будто вдруг осветило для меня всю прошлую жизнь мою. Действительно, почти каждая страница, прочитанная мною, была мне уж как будто знакома, как будто уже давно прожита; как будто все эти страсти, вся эта жизнь, представшая передо мною в таких неожиданных формах, в таких волшебных картинах, уже была мною испытана. И как не завлечься было мне до забвения настоящего, почти до отчуждения от действительности, когда передо мной в каждой книге, прочитанной мною, воплощались законы той же судьбы, тот же дух приключений, который царил над жизнью человека, но истекая из какого-то главного закона жизни человеческой, который был условием спасения, охранения и счастья. Этот-то закон, подозреваемый мною, я и старалась угадать всеми силами, всеми своими инстинктами, возбужденными во мне почти каким-то чувством самосохранения. Меня как будто предувещивали вперед, как будто предостерегал кто-нибудь. Как будто что-то пророчески теснилось мне в душу, и с каждым днем все более и более крепла надежда в душе моей, хотя вместе с тем все сильнее и сильнее были мои порывы в эту будущность, в эту жизнь, которая каждодневно поражала меня в прочитанном мною со всей силой, свойственной искусству, со всеми обольщениями поэзии. Но, как я уже сказала, фантазия моя слишком властвовала над моим нетерпением, и я, по правде, была смела лишь в мечтах, а на деле инстинктивно робела перед будущим. И потому, будто предварительно согласясь с собой, я бессознательно положила довольствоваться покуда миром фантазии, миром мечтательности, в котором уже я одна была владычицей, в котором были только одни обольщения, одни радости, и самое несчастье, если и было допускаемо, то играло роль пассивную, роль переходную, роль необходимую для сладких контрастов и для

внезапного поворота судьбы к счастливой развязке моих головных восторженных романов. Так понимаю я теперь тогдашнее мое настроение.

И такая жизнь, жизнь фантазии, жизнь резкого отчуждения от всего меня окружавшего, могла продолжаться целые три года!

Эта жизнь была моя тайна, и после целых трех лет я еще не знала, бояться ли мне ее внезапного оглашения, или нет. То, что я пережила в эти три года, было слишком мне родное, близкое. Во всех этих фантазиях слишком сильно отразилась я сама, до того, что, наконец, могла смутиться и испугаться чужого взгляда, чей бы он ни был, который бы неосторожно заглянул в мою душу. К тому же мы все, весь дом наш, жили так уединенно, так вне общества, в такой монастырской тиши, что невольно в каждом из нас должна была развиться сосредоточенность в себе самом, какая-то потребность самозаключения. То же и со мною случилось. В эти три года кругом меня ничего не преобразилось, все осталось по-прежнему. По-прежнему царило между нами унылое однообразие, которое, – как теперь думаю, если б я не была увлечена своей тайной, скрытной деятельностью, – истерзало бы мою душу и бросило бы меня в неизвестный мятежный исход из этого вялого, тоскливого круга, в исход, может быть, гибельный. Мадам Леотар постарела и почти совсем заключилась в своей комнате; дети были еще слишком малы; Б. был слишком однообразен, а муж Александры Михайловны – такой же суровый, такой же недоступный, такой же заключенный в себя, как и прежде. Между ним и женой по-прежнему была та же таинственность отношений, которая мне начала представляться все более и более в грозном, суровом виде, я все более и более пугалась за Александру Михайловну. Жизнь ее, безотрадная, бесцветная, видимо гасла в глазах моих. Здоровье ее становилось почти с каждым днем все хуже и хуже. Как будто какое-то отчаяние вступило, наконец, в ее душу; она, видимо, была под гнетом чего-то неведомого, неопределенного, в чем и сама она не могла дать отчета, чего-то ужасного и вместе с тем ей самой непонятного, но которое она приняла как неизбежный крест своей осужденной жизни. Сердце ее ожесточалось, наконец, в этой глухой муке; даже ум ее принял другое направление, темное, грустное. Особенно поразило меня одно наблюдение: мне казалось, что чем более я входила в лета, тем более она как бы удалялась от меня, так что скрытность ее со мной обращалась даже в какую-то нетерпеливую досаду. Казалось, она даже не любила меня в иные минуты; как будто я ей мешала. Я сказала, что стала нарочно удаляться ее и удалившись раз, как будто заразилась таинственностью ее же характера. Вот почему все, что я прожила в эти три года, все, что сформировалось в душе моей, в мечтах, в познаниях, в надеждах и в страстных восторгах, – все это упрямо осталось при мне. Раз затаившись друг от друга, мы уже потом никогда не сошлись, хотя, кажется мне, я любила ее с каждым днем еще более прежнего. Без слез не могу вспомнить теперь о том, до какой степени она была привязана ко мне, до какой степени она обязалась в своем сердце расточать на меня все сокровище любви, которое в нем заключалось, и исполнить обет свой до конца – быть мне матерью. Правда, собственное горе иногда надолго отвлекало ее от меня, она как будто забывала обо мне, тем более что и я старалась не напоминать ей о себе, так что мои шестнадцать лет подошли, как будто никто того не заметил. Но в минуты сознания и более ясного взгляда кругом Александра Михайловна как бы вдруг начинала обо мне тревожиться; она с нетерпением вызывала меня к себе из моей комнаты, из-за моих уроков и занятий, закидывала меня вопросами, как будто испытывая, разузнавая меня, не разлучалась со мной по целым дням, угадывала все побуждения мои, все желания, очевидно заботясь о моем возрасте, о моей настоящей минуте, о будущем, и с неистощимою любовью, с каким-то благоговением готовила мне свою помощь. Но она уже очень отвыкла от меня и потому поступала иногда слишком наивно, так что все это было мне слишком понятно и заметно. Например, и это случилось, когда уже мне был шестнадцатый год, она, перерыв мои книги, расспросив о том, что я читаю, и найдя, что я не вышла еще из детских сочинений для двенадцатилетнего возраста, как будто вдруг испугалась. Я догадалась, в чем дело, и следила за нею внимательно. Целые две недели она как будто приготавливала меня, испытывала меня, разузнавала степень моего развития и

степень моих потребностей. Наконец она решилась начать, и на столе нашем явился «Ивангое» Вальтера Скотта, которого я уже давно прочитала, и по крайней мере раза три. Сначала она с робким ожиданием следила за моими впечатлениями, как будто взвешивала их, словно боялась за них; наконец эта натянутость между нами, которая была мне слишком приметна, исчезла; мы воспламенились обе, и я так рада, так рада была, что могла уже перед ней не скрываться! Когда мы кончали роман, она была от меня в восторге. Каждое замечание мое во время нашего чтения было верно, каждое впечатление правильно. В глазах ее я уже развилась слишком далеко. Пораженная этим, в восторге от меня, она радостно принялась было опять следить за моим воспитанием, – она уж более не хотела разлучаться со мной; но это было не в ее воле. Судьба скоро опять разлучила нас и помешала нашему сближению. Для этого достаточно было первого припадка болезни, припадка ее всегдашнего горя, а затем опять отчуждения, тайны, недоверчивости и, может быть, даже ожесточения.

Но и в такое время иногда минута была вне нашей власти. Чтение, несколько симпатичных слов, перемолвленных между нами, музыка – и мы забывались, высказывались, высказывались иногда через меру, и после того нам становилось тяжело друг перед другом. Одумавшись, мы смотрели друг на друга как испуганные, с подозрительным любопытством и с недоверчивостью. У каждой из нас был свой предел, до которого могло идти наше сближение; за него мы переступить не смели, хотя бы и хотели.

Однажды вечером, перед сумерками, я рассеянно читала книгу в кабинете Александры Михайловны. Она сидела за фортепьяно, импровизируя на тему одного любимейшего ею мотива итальянской музыки. Когда она перешла наконец в чистую мелодию арии, я, увлекшись музыкою, которая проникла мне в сердце, начала робко, вполголоса, напевать этот мотив про себя. Скоро увлекшись совсем, я встала с места и подошла к фортепьяно; Александра Михайловна, как бы угадав меня, перешла в аккомпанемент и с любовью следила за каждой нотой моего голоса. Казалось, она была поражена богатством его. До сих пор я никогда при ней не пела, да и сама едва знала, есть ли у меня какие-нибудь средства. Теперь мы вдруг одушевились обе. Я все более и более возвышала голос; во мне возбуждалась энергия, страсть, разжигаемая еще более радостным изумлением Александры Михайловны, которое я угадывала в каждом такте ее аккомпанемента. Наконец пение кончилось так удачно, с таким одушевлением, с такою силою, что она в восторге схватила мои руки и радостно взглянула на меня.

– Аннета! да у тебя чудный голос, – сказала она. – Боже мой! Как же это я не заметила!

– Я сама только сейчас заметила, – отвечала я вне себя от радости.

– Да благословит же тебя бог, мое милое, бесценное дитя! Благодарю его за этот дар. Кто знает... Ах, боже мой, боже мой!

Она была так растрогана неожиданностью, в таком иступлении от радости, что не знала, что мне сказать, как приглубить меня. Это была одна из тех минут откровения, взаимной симпатии, сближения, которых уже давно не было с нами. Через час как будто праздник настал в доме. Немедленно послали за Б. В ожидании его мы наудачу раскрыли другую музыку, которая мне была знакомее, и начали новую арию. В этот раз я дрожала от робости. Мне не хотелось неудачей разрушить первое впечатление. Но скоро мой же голос ободрил и поддержал меня. Я сама все более за и более изумлялась его силе, и в этот вторичный опыт рассеяно было всякое сомнение. В припадке своей нетерпеливой радости Александра Михайловна послала за детьми, даже за няней детей своих и, наконец, увлекшись совсем, пошла к мужу и вызвала его из кабинета, о чем в другое время едва бы помыслить осмелилась. Петр Александрович выслушал новость благосклонно, поздравил меня и сам первый объявил, что нужно меня учить. Александра Михайловна, счастливая от благодарности, как будто бог знает что для нее было сделано, бросилась целовать его руки. Наконец явился Б. Старик был обрадован. Он меня очень любил, вспомнил о моем отце, о прошедшем, и когда я спела перед ним два-три раза, он с серьезным, с озабоченным видом, даже с какою-то таинственностью, объявил, что средства есть несомненные, может быть даже и талант, и что не учить меня невозможно. Потом тут же, как бы одумавшись, они оба

положили с Александрой Михайловной, что опасно слишком захваливать меня в самом начале, и я заметила, как тут же они перемигнулись и сговорились украдкой, так что весь их заговор против меня вышел очень наивен и неловок. Я смеялась про себя целый вечер, видя, как потом, после нового пения, они старались удерживаться и даже нарочно замечать вслух мои недостатки. Но они крепились недолго, и первый же изменил себе Б., снова расчувствовавшись от радости. Я никогда не подозревала, чтоб он так любил меня. Во весь вечер шел самый дружеский, самый теплый разговор. Б. рассказал несколько биографий известных певцов и артистов, и рассказывал с восторгом художника, с благоговением, растроганный. Затем, коснувшись отца моего, разговор перешел на меня, на мое детство, на князя, на все семейство князя, о котором я так мало слыхала с самой разлуки. Но Александра Михайловна и сама не много знала о нем. Всего более знал Б., потому что не раз ездил в Москву. Но здесь разговор принял какое-то таинственное, загадочное для меня направление, и два-три обстоятельства, в особенности касавшиеся князя, были для меня совсем непонятны. Александра Михайловна заговорила о Кате, но Б. ничего не мог сказать о ней особенного и тоже как будто с намерением желал умолчать о ней. Это поразило меня. Я не только не позабыла Кати, не только не замолкла во мне моя прежняя любовь к ней, но даже напротив: я и не подумала ни разу, что в Кате могла быть какая-нибудь перемена. От внимания моего ускользнули доселе и разлука, и эти долгие годы, прожитые розно, в которые мы не подали друг другу никакой вести о себе, и разность воспитания, и разность характеров наших. Наконец, Катя мысленно никогда не покидала меня: она как будто все еще жила со мною; особенно во всех моих мечтах, во всех моих романах и фантастических приключениях мы всегда шли вместе с ней рука в руку. Вообразив себя героиней каждого прочитанного мною романа, я тотчас же помещала возле себя свою подругу-княжну и раздвоявала роман на две части, из которых одна, конечно, была создана мною, хотя я обкрадывала беспощадно моих любимых авторов. Наконец в нашем семейном совете положено было пригласить мне учителя пения. Б. рекомендовал известнейшего и наилучшего. На другой же день к нам приехал итальянец Д., выслушал меня, повторил мнение Б., своего приятеля, но тут же объявил, что мне будет гораздо более пользы ходить учиться к нему, вместе с другими его ученицами, что тут помогут развитию моего голоса и соревнование, и переимчивость, и богатство всех средств, которые будут у меня под руками. Александра Михайловна согласилась; и с этих пор я ровно по три раза в неделю отправлялась по утрам, в восемь часов, в сопровождении служанки в консерваторию.

Теперь я расскажу одно странное приключение, имевшее на меня слишком сильное влияние и резким переломом начавшее во мне новый возраст. Мне минуло тогда шестнадцать лет, и, вместе с тем, в душе моей вдруг настала какая-то непонятная апатия; какое-то нестерпимое, тоскливое затишье, непонятное мне самой, посетило меня. Все мои грезы, все мои порывы вдруг умолкли, даже самая мечтательность исчезла как бы от бессилия. Холодное равнодушие заменило место прежнего неопытного душевного жара. Даже дарование мое, принятое всеми, кого я любила с таким восторгом, лишилось моей симпатии, и я бесчувственно пренебрегала им. Ничто не развлекало меня, до того, что даже к Александре Михайловне я чувствовала какое-то холодное равнодушие, в котором сама себя обвиняла, потому что не могла не сознаться в том. Моя апатия прерывалась безотчетною грустью, внезапными слезами. Я искала уединения. В эту странную минуту странный случай потряс до основания всю мою душу и обратил это затишье в настоящую бурю. Сердце мое было уязвлено... Вот как это случилось.

VII

Я вошла в библиотеку (это будет навсегда памятная для меня минута) и взяла роман Вальтера Скотта «Сен-Ронанские воды», единственный, который еще не прочитала. Помню, что язвительная, беспредметная тоска терзала меня как будто каким-то предчувствием. Мне хотелось плакать. В комнате было ярко-светло от последних, косых лучей заходящего

солнца, которые густо лились в высокие окна на сверкающий паркет пола; было тихо; кругом, в соседних комнатах, тоже не было ни души. Петра Александровича не было дома, а Александра Михайловна была больна и лежала в постели. Я действительно плакала и, раскрыв вторую часть, беспредметно перелистывала ее, стараясь отыскать какой-нибудь смысл в отрывочных фразах, мелькавших у меня перед глазами. Я как будто гадала, как гадают, раскрывая книгу наудачу. Бывают такие минуты, когда все умственные и душевные силы, болезненно напрягаясь, как бы вдруг вспыхнут ярким пламенем сознания, и в это мгновение что-то пророческое снится потрясенной душе, как бы томящейся предчувствием будущего, предвкушающей его, И так хочется жить, так просится жить весь ваш состав, и, воспламеняясь самой горячей, самой слепой надеждой, сердце как будто вызывает будущее, со всей его тайной, со всей неизвестностью, хотя бы с бурями, с грозами, но только бы с жизнью. Моя минута именно была такова.

Припоминаю, что я именно закрыла книгу, чтоб потом раскрыть наудачу и, загадав о моем будущем, прочесть выпавшую мне страницу. Но, раскрыв ее, я увидела исписанный лист почтовой бумаги, сложенный вчетверо и так приплюснутый, так слежавшийся, как будто уже он несколько лет был заложен в книгу и забыт в ней. С крайним любопытством начала я осматривать свою находку. Это было письмо, без адреса, с подписью двух начальных букв С. О. Мое внимание удвоилось; я развернула чуть не слипшуюся бумагу, которая от долгого лежания между страницами оставила на них во весь размер свой светлое место. Складки письма были истерты, выношены: видно было, что когда-то его часто перечитывали, берегли как драгоценность. Чернила посинели, выцвели, – уж слишком давно как оно написано! Несколько слов бросилось мне случайно в глаза, и сердце мое забилося от ожидания. Я в смущении вертела письмо в руках, как бы нарочно отдаляя от себя минуту чтения. Случайно я поднесла его к свету: да! капли слез засохли на этих строчках; пятна оставались на бумаге; кое-где целые буквы были смыты слезами. Чьи это слезы? Наконец, замирая от ожидания, я прочла половину первой страницы, и крик изумления вырвался из груди моей. Я заперла шкаф, поставила книгу на место и, спрятав письмо под косынку, побежала к себе, заперлась и начала перечитывать опять сначала. Но сердце мое так колотилось, что слова и буквы мелькали и прыгали перед глазами моими. Долгое время я ничего не понимала. В письме было открытие, начало тайны; оно поразило меня, как молния, потому что я узнала, к кому оно было писано. Я знала, что я почти преступление сделаю, прочитав это письмо; но минута была сильнее меня! Письмо было к Александре Михайловне.

Вот это письмо; я привожу его здесь. Смутно поняла я, что в нем было, и потом долго не оставляли меня разгадка и тяжелая дума. С этой минуты как будто переломилась моя жизнь. Сердце мое было потрясено и возмущено надолго, почти навсегда, потому что много вызвало это письмо за собою. Я верно загадала о будущем.

Это письмо было прощальное, последнее, страшное; когда я прочла его, то почувствовала такое болезненное сжатие сердца, как будто я сама все потеряла, как будто все навсегда отнялось от меня, даже мечты и надежды, как будто ничего более не осталось при мне, кроме ненужной более жизни. Кто же он, писавший это письмо? Какова была потом ее жизнь? В письме было так много намеков, так много данных, что нельзя было ошибиться, так много и загадок, что нельзя было не потеряться в предположениях. Но я почти не ошиблась; к тому же и слог письма, подсказывающий многое, подсказывал весь характер этой связи, от которой разбились два сердца. Мысли, чувства писавшего были наружу. Они были слишком особенны и, как я уже сказала, слишком много подсказывали догадке. Но вот это письмо; выписываю его от слова до слова:

«Ты не забудешь меня, ты сказала – я верю, и вот отныне вся жизнь моя в этих словах твоих. Нам нужно расстаться, пробил наш час! Я давно это знал, моя тихая, моя грустная красавица, но только теперь понял. Во все *наше* время, во все время, как ты любила меня, у меня болело и ныло сердце за любовь нашу, и поверишь ли? теперь мне легче! Я давно знал, что этому будет такой конец, и так

было прежде нас суждено! Это судьба! Выслушай меня, Александра: мы были *неровня*; я всегда, *всегда* это чувствовал! Я был недостойн тебя, и я, один я, должен был нести наказание за прожитое счастье мое! Скажи: что я был перед тобою до той поры, как ты узнала меня? Боже! вот уже два года прошло, и я до сих пор как будто без памяти; я до сих пор не могу понять, что *ты меня* полюбила! Я не понимаю, как дошло у нас до того, с чего началось. Помнишь ли, что я был в сравнении с тобою? Достоин ли я был тебя, чем я взял, чем я особенно был отличен! До тебя я был груб и прост, вид мой был уныл и угрюм. Жизни другой я не желал, не помышлял о ней, не звал ее и призывать не хотел. Все во мне было как-то придавлено, и я не знал ничего на свете важнее моей обыденной срочной работы. Одна забота была у меня – завтрашний день; да и к той я был равнодушен. Прежде, уж давно это было, мне снилось что-то такое, и я мечтал как глупец. Но с тех пор ушло много-много времени, и я стал жить одиноко, сурово, спокойно, даже и не чувствуя холода, который леденил мое сердце. И оно заснуло. Я ведь знал и решил, что для меня никогда не взойдет другого солнца, и верил тому, и не роптал ни на что, потому что знал, что так *должно было быть*. Когда ты проходила мимо меня, ведь я не понимал, что мне можно сметь поднять на тебя глаза. Я был как раб перед тобою. Мое сердце не дрожало возле тебя, не ныло, не вещало мне про тебя: оно было покойно. Моя душа не узнавала твоей, хотя и светло ей было возле своей прекрасной сестры. Я это знаю; я глухо чувствовал это. Это я мог чувствовать, затем что и на последнюю былинку проливается свет божией денницы и прогревает и нежит ее так же, как и роскошный цветок, возле которого смиренно прозябает она. Когда же я узнал все, – помнишь, после того вечера, после тех слов, которые потрясли до основания душу мою, – я был ослеплен, поражен, все во мне помутилось, и знаешь ли? я так был поражен, так не поверил себе, что не понял тебя! Про это я тебе никогда не говорил. Ты ничего не знала; не таков я был прежде, каким ты застала меня. Если б я мог, если б я смел говорить, я бы давно во всем признался тебе. Но я молчал, а теперь все скажу, затем чтоб ты знала, кого теперь оставляешь, с какие человеком расстаешься! Знаешь ли, как я сначала понял тебя? Страсть, как огонь, охватила меня, как яд, пролилась в мою кровь; она смутила все мои мысли и чувства, я был опьянен, я был как в чаду и отвечал на чистую, *сострадательную* любовь твою не как равный ровне, не как достойный чистой любви твоей, а без сознания, без сердца. Я не узнал тебя. Я отвечал тебе как той, которая, в глазах моих, *забылась до меня*, а не как той, которая хотела возвысить меня до себя. Знаешь ли, в чем я подозревал тебя, что значило это: *забылась до меня*? Но нет, я не оскорблю тебя своим признанием; одно скажу тебе: ты горько во мне ошиблась! Никогда, никогда я не мог до тебя возвыситься. Я мог только недоступно созерцать тебя в беспредельной любви своей, когда понял тебя, но тем я не загладил вины своей. Страсть моя, возвышенная тобою, была не любовь, – любви я боялся; я не смел тебя полюбить; в любви – взаимность, равенство, а их я был недостойн... Я и не знаю, что было со мною! О! как мне рассказать тебе это, как быть понятным!.. Я не верил сначала... О! помнишь ли, когда утихло первое волнение мое, когда прояснился мой взор, когда осталось одно чистейшее, непорочное чувство, – тогда первым движением моим было удивление, смущенье, страх, и помнишь, как я вдруг, рыдая, бросился к ногам твоим? помнишь ли, как ты, смущенная, испуганная, со слезами спрашивала: что со мною? Я молчал, я не мог отвечать тебе; но душа моя разрывалась на части; мое счастье давило меня как невыносимое бремя, и рыдания мои говорили во мне: „За что мне это? чем я заслужил это? чем я заслужил блаженство?“ Сестра моя, сестра моя! О! сколько раз – ты не знала того – сколько раз, украдкой, я целовал твоё платье, украдкой, потому что я знал, что недостойн тебя, – и дух во мне занимался тогда, и сердце мое билось медленно и крепко, словно хотело остановиться и замереть навсегда. Когда я брал твою руку, я весь бледнел и дрожал; ты смущала меня чистотою души твоей. О, я не умею высказать тебе всего, что накопилось в душе моей и что так хочет высказаться! Знаешь ли, что мне тяжела, мучительна была подчас твоя сострадательная всегдашняя нежность со мною? Когда ты поцеловала меня (это случилось один раз, и я никогда того не забуду), – туман стал в глазах

моих и весь дух мой изныл во мгновение. Зачем я не умер в эту минуту у ног твоих? Вот я пишу тебе *ты* в первый раз, хотя ты давно мне так приказала. Поймешь ли ты, что я хочу сказать? Я хочу тебе сказать *все*, и скажу это: да, ты много любишь меня, ты любила меня, как сестра любит брата; ты любила меня как свое создание, потому что воскресила мое сердце, разбудила мой ум от усыпления и влила мне в грудь сладкую надежду; я же не мог, не смел; я никогда доселе не называл тебя сестрою моею, затем что не мог быть братом твоим, затем что мы были неровня, затем что ты во мне обманулась!

Но ты видишь, я все пишу о себе, даже теперь, в эту минуту страшного бедствия, я только об одном себе думаю, хотя и знаю, что ты мучишься за меня. О, не мучься за меня, друг мой милый! Знаешь ли, как я унижен теперь в собственных глазах своих! Все это открылось, столько шуму пошло! Тебя за меня отвергнут, в тебя бросят презрением, насмешкой, потому что я так низко стою в их глазах! О, как я виновен, что был недостойн тебя! Хотя бы я имел важность, личную оценку в их мнении, внушал больше уважения, на их глаза, они бы простили тебе! Но я низок, я ничтожен, я смешон, а ниже смешного ничего быть не может. Ведь *кто* кричит? Ведь вот оттого, что *эти* уже стали кричать, я и упал духом; я всегда был слаб. Знаешь ли, в каком я теперь положении: я сам смеюсь над собой, и мне кажется, они правду говорят, потому что я даже и себе смешон и ненавистен. Я это чувствую; я ненавижу даже лицо, фигуру свою, все привычки, все неблагородные ухватки свои; я их всегда ненавидел! О, прости мне мое грубое отчаяние! Ты сама приучила меня говорить тебе все. Я погубил тебя, я навлек на тебя злобу и смех, потому что был тебя недостойн.

И вот эта-то мысль меня мучит; она стучит у меня в голове беспрерывно и терзает и язвит мое сердце. И все кажется мне, что ты любила не того человека, которого думала во мне найти, что ты обманулась во мне. Вот что мне больно, вот что теперь меня мучит, и замучит до смерти, или я с ума сойду!

Прощай же, прощай! Теперь, когда все открылось, когда раздались их крики, их пересуды (я слышал их!), когда я умалился, унизился в собственных глазах своих, устыдясь за себя, устыдясь даже за тебя, за твой выбор, когда я проклинал себя, теперь мне нужно бежать, исчезнуть для твоего покоя. Так требуют, и ты никогда, никогда меня не увидишь! Так нужно, так суждено! Мне слишком много было дано; судьба ошиблась; теперь она поправляет ошибку и все отнимает назад. Мы сошлись, узнали друг друга, и вот расходимся до другого свидания! Где оно будет, когда оно будет? О, скажи мне, родная моя, где мы встретимся, где найти мне тебя, как узнать мне тебя, узнаешь ли ты меня тогда? Вся душа моя полна тобою. О, за что же, за что это нам? Зачем расстанемся мы? Научи – ведь я не понимаю, не пойму этого, никак не пойму – научи, как разорвать жизнь пополам, как вырвать сердце из груди и быть без него? О, как я вспомню, что более никогда тебя не увижу, никогда, никогда!..

Боже, какой они подняли крик! Как мне страшно теперь за тебя! Я только что встретил твоего мужа: мы оба недостойны его, хотя оба безгрешны пред ним. Ему все известно; он нас видит; он понимает все, и прежде все ему было ясно как день. Он геройски стал за тебя; он спасет тебя; он защитит тебя от этих пересудов и криков; он любит и уважает тебя беспрельдно; он твой спаситель, тогда как я бегу!.. Я бросился к нему, я хотел целовать его руку!.. Он сказал мне, чтоб я ехал немедленно. Решено! Говорят, что он поссорился из-за тебя с ними со всеми; там все против тебя! Его упрекают в потворстве и слабости. Боже мой! что там еще говорят о тебе? Они не знают, они *не могут, не в силах понять!* Прости, прости им, бедная моя, как я им прощаю; а они взяли у меня больше, чем у тебя!

Я не помню себя, я не знаю, что пишу тебе. О чем я говорил тебе вчера при прощанье? Я ведь все позабыл. Я был вне себя, ты плакала... Прости мне эти слезы! Я так слаб, так малодушен!

Мне еще что-то хотелось сказать тебе... Ох! еще бы только раз облить твои руки слезами, как теперь я обливаю слезами письмо мое! Еще бы раз быть у ног твоих! Если б *они* только знали, как прекрасно было твое чувство! Но они слепы; их сердца горды и надменны; они не видят и вовек не увидят того. Им *нечем*

увидеть! Они не поверят, что ты невинна, даже перед их судом, хотя бы все на земле им в том поклялось. Им ли это понять! Как же камень поднимут они на тебя? чья первая рука поднимет его? О, они не смутятся, они поднимут тысячи камней! Они осмелятся поднять их затем, что знают, как это сделать. Они поднимут все разом и скажут, что они сами безгрешны, и грех возьмут на себя! О, если б знали они, что делают! Если б только можно было рассказать им все, без утайки, чтоб видели, слышали, поняли и уверились! Но нет, они не так злы... Я теперь в отчаянии, я, может быть, клевету на них! Я, может быть, пугаю тебя своим страхом! Не бойся, не бойся их, родная моя! тебя поймут; наконец, тебя уже понял один: надейся – это муж твой!

Прощай, прощай! *Я не благодарю тебя!* Прощай навсегда!

С. О.»

Смушение мое было так велико, что я долгое время не могла понять, что со мной сделалось. Я была потрясена и испугана. Действительность поразила меня врасплох среди легкой жизни мечтаний, в которых я провела уж три года. Я со страхом чувствовала, что в руках моих большая тайна и что эта тайна уж связывает все существование мое... как? я еще и сама не знала того. Я чувствовала, что только с этой минуты для меня начинается новая будущность. Теперь я невольно стала слишком близкой участницей в жизни и в отношениях тех людей, которые доселе заключали весь мир, меня окружавший, и я боялась за себя. Чем войду я в их жизнь, я, непрощенная, я, чужая им? Что принесу я им? Чем разрешатся эти путы, которые так внезапно приковали меня к чужой тайне? Почему знать? может быть, новая роль моя будет мучительна и для меня, и для них. Я же не могла молчать, не принять этой роли и безвыходно заключить то, что узнала, в сердце моем. Но как и что будет со мною? что сделаю я? И что такое, наконец, я узнала? Тысячи вопросов, еще смутных, еще неясных, вставали предо мною и уже нестерпимо теснили мне сердце. Я была как потерянная.

Потом, помню, приходили другие минуты, с новыми, странными, доселе не испытанными мною впечатлениями. Я чувствовала, как будто что-то разрешилось в груди моей, что прежняя тоска вдруг разом отпала от сердца и что-то новое начало наполнять его, что-то такое, о чем я не знала еще, – горевать ли о нем или радоваться ему. Настоящее мгновение мое похоже было на то, когда человек покидает навсегда свой дом, жизнь доселе покойную, безмятежную для далекого неведомого пути и в последний раз оглядывается кругом себя, мысленно прощаясь с своим прошедшим, а между тем горько сердцу от тоскливого предчувствия всего неизвестного будущего, может быть сурового, враждебного, которое ждет его на новой дороге. Наконец, судорожные рыдания вырвались из груди моей и болезненным припадком разрешили мое сердце. Мне нужно было видеть, слышать кого-нибудь, обнять крепче, крепче. Я уж не могла, не хотела теперь оставаться одна; я бросилась к Александре Михайловне и провела с ней весь вечер. Мы были одни. Я просила ее не играть и отказалась петь, несмотря на просьбы ее. Все мне стало вдруг тяжело, и ни на чем я не могла остановиться. Кажется, мы с ней плакали. Помню только, что я ее совсем перепугала. Она уговаривала меня успокоиться, не тревожиться. Она со страхом следила за мной, уверяя меня, что я больна и что я не берегу себя. Наконец я ушла от нее, вся измученная, истерзанная; я была словно в бреду и легла в постель в лихорадке.

Прошло несколько дней, пока я могла прийти в себя и яснее осмыслить свое положение. В это время мы обе, я и Александра Михайловна, жили в полном уединении. Петра Александровича не было в Петербурге. Он поехал за какими-то делами в Москву и пробыл там три недели. Несмотря на короткий срок разлуки, Александра Михайловна впала в ужасную тоску. Порой она становилась покойнее, но затворялась одна, так что и я была ей в тягость. К тому же я сама искала уединения. Голова моя работала в каком-то болезненном напряжении; я была как в чаду. Порой на меня находили часы долгой, мучительно-безотвязной думы; мне снилось тогда, что кто-то словно смеется надо мной потихоньку, как будто что-то такое поселилось во мне, что смущает и отравляет каждую мысль мою. Я не могла отвязаться от мучительных образов, являвшихся предо мной поминутно и не дававших

мне покоя. Мне представлялось долгое, безвыходное страдание, мученичество, жертва, приносимая покорно, безропотно и напрасно. Мне казалось, что тот, кому принесена эта жертва, презирает ее и смеется над ней. Мне казалось, что я видела преступника, который прощает грехи праведнику, и мое сердце разрывалось на части! В то же время мне хотелось всеми силами отвязаться от моего подозрения; я проклинала его, я ненавидела себя за то, что все мои убеждения были не убеждения, а только предчувствия, за то, что я не могла оправдать своих впечатлений сама пред собою.

Потом перебирала я в уме эти фразы, эти последние крики страшного прощания. Я представляла себе этого человека – *неровню*; я старалась угадать весь мучительный смысл этого слова: «неровня». Мучительно поражало меня это отчаянное прощанье: «Я смешон и сам стыжусь за твой выбор». Что это было? Какие это люди? О чем они тоскуют, о чем мучатся, что потеряли они? Преодолев себя, я напряженно перечитывала опять это письмо, в котором было столько терзающего душу отчаяния, но смысл которого был так странен, так неразрешим для меня. Но письмо выпадало из рук моих, и мятежное волнение все более и более охватывало мое сердце... Наконец все это должно же было чем-нибудь разрешиться, а я не видела выхода или боялась его!

Я была почти совсем больна, когда, в один день, на нашем дворе загредел экипаж Петра Александровича, воротившегося из Москвы. Александра Михайловна с радостным криком бросилась навстречу мужа, но я остановилась на месте как прикованная. Помню, что я сама была поражена до испуга внезапным волнением своим. Я не выдержала и бросилась к себе в комнату. Я не понимала, чего я так вдруг испугалась, но боялась за этот испуг. Через четверть часа меня позвали и передали мне письмо от князя. В гостиной я встретила какого-то незнакомого, который приехал с Петром Александровичем из Москвы, и, по некоторым словам, удержанным мною, я узнала, что он располагается у нас на долгое житье. Это был уполномоченный князя, приехавший в Петербург хлопотать по каким-то важным делам княжеского семейства, уже давно находившимся в заведовании Петра Александровича. Он подал мне письмо от князя и прибавил, что княжна тоже хотела писать ко мне, до последней минуты уверяла, что письмо будет непременно написано, но отпустила его с пустыми руками и с просьбою передать мне, что писать ей ко мне решительно нечего, что в письме ничего не напишешь, что она испортила целых пять листов и потом изорвала всё в клочки, что, наконец, нужно вновь подружиться, чтоб писать друг к другу. Затем она поручила уверить меня в скором свидании с нею. Незнакомый господин отвечал на нетерпеливый вопрос мой, что весть о скором свидании действительно справедлива и что все семейство очень скоро собирается прибыть в Петербург. При этом известии я не знала, как быть от радости, поскорее ушла в свою комнату, заперлась в ней и, обливаясь слезами, раскрыла письмо князя. Князь обещал мне скорое свидание с ним и с Катей и с глубоким чувством поздравлял меня с моим талантом; наконец, он благословлял меня на мое будущее и обещался устроить его. Я плакала, читая это письмо; но к сладким слезам моим примешивалась такая невыносимая грусть, что, помню, я за себя пугалась; а сама не знала, что со мной делается.

Прошло несколько дней. В комнате, которая была рядом с моею, где прежде помещался письмоводитель Петра Александровича, работал теперь каждое утро, и часто по вечерам за полночь, новый приезжий. Часто они запирались в кабинете Петра Александровича и работали вместе. Однажды, после обеда, Александра Михайловна попросила меня сходить в кабинет мужа и спросить его, будет ли он с нами пить чай. Не найдя никого в кабинете и полагая, что Петр Александрович скоро войдет, я остановилась ждать. На стене висел его портрет. Помню, что я вдруг вздрогнула, увидев этот портрет, и с непонятным мне самой волнением начала пристально его рассматривать. Он висел довольно высоко; к тому же было довольно темно, и я, чтоб удобнее рассматривать, придвинула стул и стала на него. Мне хотелось что-то сыскать, как будто я надеялась найти разрешение сомнений моих, и, помню, прежде всего меня поразили глаза портрета. Меня поразило тут же, что я почти никогда не видала глаз этого человека: он всегда прятал их под очки.

Я еще в детстве не любила его взгляда по непонятному, странному предубеждению, но как будто это предубеждение теперь оправдалось. Воображение мое было настроено. Мне вдруг показалось, что глаза портрета с смущением отворачиваются от моего пронзительно-испытующего взгляда, что они силятся избежать его, что ложь и обман в этих глазах; мне показалось, что я угадала, и не понимаю, какая тайная радость откликнулась во мне на мою догадку. Легкий крик вырвался из груди моей. В это время я услышала сзади меня шорох. Я оглянулась: передо мной стоял Петр Александрович и внимательно смотрел на меня. Мне показалось, что он вдруг покраснел. Я вспыхнула и соскочила со стула.

– Что вы тут делаете? – спросил он строгим голосом. – Зачем вы здесь?

Я не знала, что отвечать. Немного оправившись, я передала ему кое-как приглашение Александры Михайловны. Не помню, что он отвечал мне, не помню, как я вышла из кабинета; но, придя к Александре Михайловне, я совершенно забыла ответ, которого она ожидала, и наугад сказала, что будет.

– Но что с тобой, Неточка? – спросила она. – Ты вся раскраснелась; посмотри на себя. Что с тобой?

– Я не знаю... я скоро шла... – отвечала я.

– Тебе что же сказал Петр Александрович? – перебила она с смущением.

Я не отвечала. В это время послышались шаги Петра Александровича, и я тотчас же вышла из комнаты. Я ждала целые два часа в большой тоске. Наконец пришли звать меня к Александре Михайловне. Александра Михайловна была молчалива и озабочена. Когда я вошла, она быстро и пытливо посмотрела на меня, но тотчас же опустила глаза. Мне показалось, что какое-то смущение отразилось на лице ее. Скоро я заметила, что она была в дурном расположении духа, говорила мало, на меня не глядела совсем и, в ответ на заботливые вопросы Б., жаловалась на головную боль. Петр Александрович был разговорчивее всегдашнего, но говорил только с Б.

Александра Михайловна рассеянно подошла к фортепьяно.

– Спойте нам что-нибудь, – сказал Б., обращаясь ко мне.

– Да, Аннета, спой твою новую арию, – подхватила Александра Михайловна, как будто обрадовавшись предложению. Я взглянула на нее: она смотрела на меня в беспокойном ожидании.

Но я не умела преодолеть себя. Вместо того, чтоб подойти к фортепьяно и пропеть хоть как-нибудь, я смутилась, запуталась, не знала, как отговориться; наконец досада одолела меня, и я отказалась наотрез.

– Отчего же ты не хочешь петь? – сказала Александра Михайловна, значительно взглянув на меня и, в то же время мимолетом, на мужа.

Эти два взгляда вывели меня из терпения. Я встала из-за стола в крайнем замешательстве, но, уже не скрывая его и дрожа от какого-то нетерпеливого и досадного ощущения, повторила с горячностью, что не хочу, не могу, нездорова. Говоря это, я глядела всем в глаза, но бог знает, как бы желала быть в своей комнате в ту минуту и затаиться от всех.

Б. был удивлен, Александра Михайловна была в приметной тоске и не говорила ни слова. Но Петр Александрович вдруг встал со стула и сказал, что он забыл одно дело, и, по-видимому в досаде, что упустил нужное время, поспешно вышел из комнаты, предупредив, что, может быть, зайдет позже, а впрочем, на всякий случай пожал руку Б. в знак прощания.

– Что с вами, наконец, такое? – спросил Б. – По лицу вы в самом деле больны.

– Да, я нездорова, очень нездорова, – отвечала я с нетерпением.

– Действительно, ты бледна, а давеча была такая красная, – заметила Александра Михайловна и вдруг остановилась.

– Полноте! – сказала я, прямо подходя к ней и пристально посмотрев ей в глаза. Бедная не выдержала моего взгляда, опустила глаза, как виноватая, и легкая краска облила ее бледные щеки. Я взяла ее руку и поцеловала ее. Александра Михайловна посмотрела на меня с непритворною, наивною радостью. – Простите меня, что я была такой злой, такой дурной

ребенок сегодня, – сказала я ей с чувством, – но, право, я больна. Не сердитесь же и отпустите меня...

– Мы все дети, – сказала она с робкой улыбкой, – да и я ребенок, хуже, гораздо хуже тебя, – прибавила она мне на ухо. – Прощай, будь здорова. Только, ради бога, не сердись на меня.

– За что? – спросила я, – так поразило меня такое наивное признание.

– За что? – повторила она в ужасном смущении, даже как будто испугавшись за себя, – за что? Ну, видишь, какая я, Неточка. Что это я тебе сказала? Прощай! Ты умнее меня... А я хуже, чем ребенок.

– Ну, довольно, – отвечала я, вся растроганная, не зная, что ей сказать. Поцеловав ее еще раз, я поспешно вышла из комнаты.

Мне было ужасно досадно и грустно. К тому же я злилась на себя, чувствуя, что я неосторожна и не умею вести себя. Мне было чего-то стыдно до слез, и я заснула в глубокой тоске. Когда же я проснулась наутро, первую мысль моею было, что весь вчерашний вечер – чистый призрак, мираж, что мы только мистифицировали друг друга, заторопились, дали вид целого приключения пустякам и что все произошло от неопытности, от непривычки нашей принимать внешние впечатления. Я чувствовала, что всему виновато это письмо, что оно меня слишком беспокоит, что воображение мое расстроено, и решила, что лучше я вперед не буду ни о чем думать. Разрешив так необыкновенно легко всю тоску свою и в полном убеждении, что я так же легко и исполню, что порешила, я стала спокойнее и отправилась на урок пения, совсем развеселившись. Утренний воздух окончательно освежил мою голову. Я очень любила свои утренние путешествия к моему учителю. Так весело было проходить город, который к девятому часу уже совсем оживлялся и заботливо начинал обыденную жизнь. Мы обыкновенно проходили по самым живучим, по самым кропотливым улицам, и мне так нравилась такая обстановка начала моей артистической жизни, контраст между этой повседневной мелочью, маленькой, но живой заботой и искусством, которое ожидало меня в двух шагах от этой жизни, в третьем этаже огромного дома, набитого сверху донизу жильцами, которым, как мне казалось, ровно нет никакого дела ни до какого искусства. Я между этими деловыми, сердитыми прохожими, с тетрадью нот под мышкой; старуха Наталья, провожавшая меня и каждый раз задававшая мне, себе неведомо, разрешить задачу: о чем она всего более думает? – наконец, мой учитель, полуитальянец, полуфранцуз, чудак, минутами настоящий энтузиаст, гораздо чаще педант и всего больше скряга, – все это развлекало меня, заставляло меня смеяться или задумываться. К тому же я хоть и робко, но с страстной надеждой любила свое искусство, строила воздушные замки, выкраивала себе самое чудесное будущее и нередко, возвращаясь, была будто в огне от своих фантазий. Одним словом, в эти часы я была почти счастлива.

Именно такая минута посетила меня и в этот раз, когда я в десять часов воротилась с урока домой. Я забыла про все и, помню, так радостно размечталась о чем-то. Но вдруг, всходя на лестницу, я вздрогнула, как будто меня обожгли. Надо мной раздался голос Петра Александровича, который в эту минуту сходил с лестницы. Неприятное чувство, овладевшее мной, было так велико, воспоминание о вчерашнем так враждебно поразило меня, что я никак не могла скрыть своей тоски. Я слегка поклонилась ему, но, вероятно, лицо мое было так выразительно в эту минуту, что он остановился передо мной в удивлении. Заметив движение его, я покраснела и быстро пошла вверх. Он пробормотал что-то мне вслед и пошел своею дорогою.

Я готова была плакать с досады и не могла понять, что это такое делалось. Все утро я была сама не своя и не знала, на что решиться, чтоб кончить и разделаться со всем поскорее. Тысячу раз я давала себе слово быть благоразумнее, и тысячу раз страх за себя овладевал мною. Я чувствовала, что ненавидела мужа Александры Михайловны, и в то же время была в отчаянии за себя. В этот раз, от непрерывного волнения, я сделалась серьезно нездоровой и уже никак не могла совладать с собою. Мне стало досадно на всех; я все утро просидела у себя и даже не пошла к Александре Михайловне. Она пришла сама. Взглянув на меня, она

чуть не вскрикнула. Я была так бледна, что, посмотрев в зеркало, сама себя испугалась. Александра Михайловна сидела со мною целый час, ухаживая за мной, как за ребенком.

Но мне стало так грустно от ее внимания, так тяжело от ее ласок, так мучительно было смотреть на нее, что я попросила наконец оставить меня одну. Она ушла в большом беспокойстве за меня. Наконец тоска моя разрешилась слезами и припадком. К вечеру мне сделалось легче...

Легче, потому что я решилась идти к ней. Я решилась броситься перед ней на колени, отдать ей письмо, которое она потеряла, и признаться ей во всем: признаться во всех мучениях, перенесенных мною, во всех сомнениях своих, обнять ее со всей бесконечною любовью, которая пылала во мне к ней, к моей страдальце, сказать ей, что я дитя ее, друг ее, что мое сердце перед ней открыто, чтоб она взглянула на него и увидела, сколько в нем самого пламенного, самого непоколебимого чувства к ней. Боже мой! Я знала, я чувствовала, что я последняя, перед которой она могла открыть свое сердце, но тем вернее, казалось мне, было спасение, тем могущественнее было бы слово мое... Хотя темно, неясно, но я понимала тоску ее, и сердце мое кипело негодованием при мысли, что она может краснеть передо мною, перед моим судом... Бедная, бедная моя, ты ли та грешница? вот что скажу я ей, заплакав у ног ее. Чувство справедливости возмутилось во мне, я была в исступлении. Не знаю, что бы я сделала; но уже потом только я опомнилась, когда неожиданный случай спас меня и ее от гибели, остановив меня почти на первом шагу. Ужас нашел на меня. Ее ли замученному сердцу воскреснуть для надежды? Я бы одним ударом убила ее!

Вот что случилось: я уже была за две комнаты до ее кабинета, когда из боковых дверей вышел Петр Александрович и, не заметив меня, пошел передо мною. Он тоже шел к ней. Я остановилась как вкопанная; он был последний человек, которого я бы должна была встретить в такую минуту. Я было хотела уйти, но любопытство внезапно приковало меня к месту.

Он на минуту остановился перед зеркалом, поправил волосы, и, к величайшему изумлению, я вдруг услышала, что он напевает какую-то песню. Мигом одно темное, далекое воспоминание детства моего воскресло в моей памяти. Чтоб понятно было то странное ощущение, которое я почувствовала в эту минуту, я расскажу это воспоминание. Еще в первый год моего в этом доме пребывания меня глубоко поразили один случай, только теперь озаривший мое сознание, потому что только теперь, только в эту минуту осмыслила я начало своей необъяснимой антипатии к этому человеку! Я упоминала уже, что еще в то время мне всегда было при нем тяжело. Я уже говорила, какое тоскливое впечатление производил на меня его нахмуренный, озабоченный вид, выражение лица, нередко грустное и убитое; как тяжело было мне после тех часов, которые проводили мы вместе за чайным столиком Александры Михайловны, и, наконец, какая мучительная тоска надрывала сердце мое, когда мне приходилось быть раза два или три чуть не свидетельницей тех угрюмых, темных сцен, о которых я уже упоминала вначале. Случилось, что тогда я встретила с ним, так же как и теперь, в этой же комнате, в этот же час, когда он, так же как и я, шел к Александре Михайловне. Я чувствовала чисто детскую робость, встречаясь с ним одна, и потому притаилась в углу как виноватая, моля судьбу, чтоб он меня не заметил. Точно так же, как теперь, он остановился перед зеркалом, и я вздрогнула от какого-то неопределенного, недетского чувства. Мне показалось, что он как будто переделывает свое лицо. По крайней мере я видела ясно улыбку на лице его перед тем, как он подходил к зеркалу; я видела смех, чего прежде никогда от него не видала, потому что (помню, это всего более поразило меня) он никогда не смеялся перед Александрой Михайловной. Вдруг, едва только он успел взглянуть в зеркало, лицо его совсем изменилось. Улыбка исчезла как по приказу, и на место ее какое-то горькое чувство, как будто невольно, через силу пробивавшееся из сердца, чувство, которого не в человеческих силах было скрыть, несмотря ни на какое великодушное усилие, искривило его губы, какая-то судорожная боль нагнала морщины на лоб его и сдавила ему брови. Взгляд мрачно спрятался под очки, – словом, он в один миг, как будто по команде, стал совсем другим человеком. Помню, что я, ребенок, задрожала от страха, от

боязни понять то, что я видела, и с тех пор тяжелое, неприятное впечатление безвыходно заключилось в сердце моем. Посмотревшись с минуту в зеркало, он понурил голову, сгорбился, как обыкновенно являлся перед Александрой Михайловной, и на цыпочках пошел в ее кабинет. Вот это-то воспоминание поразило меня.

И тогда, как и теперь, он думал, что он один, и остановился перед этим же зеркалом. Как и тогда, я с враждебным, неприятным чувством очутилась с ним вместе. Но когда я услышала это пенье (пенье от него, от которого так невозможно было ожидать чего-нибудь подобного), которое поразило меня такой неожиданностью, что я осталась на месте как прикованная, когда в ту же минуту сходство напомнило мне почти такое же мгновение моего детства, – тогда, не могу передать, какое язвительное впечатление кольнуло мне сердце. Все нервы мои вздрогнули, и в ответ на эту несчастную песню я разразилась таким смехом, что бедный певец вскрикнул, отскочил два шага от зеркала и, бледный как смерть, как бесславно пойманный с поличным, глядел на меня в иступлении от ужаса, от удивления и бешенства. Его взгляд болезненно подействовал на меня. Я отвечала ему нервным, истерическим смехом прямо в глаза, прошла, смеясь, мимо него и вошла, не переставая хохотать, к Александре Михайловне. Я знала, что он стоит за портьерами, что, может быть, он колеблется, не зная, войти или нет, что бешенство и трусость приковали его к месту, – и с каким-то раздраженным, вызывающим нетерпением я ожидала, на что он решится; я готова была побиться об заклад, что он не войдет, и я выиграла. Он вошел только через полчаса. Александра Михайловна долгое время смотрела на меня в крайнем изумлении. Но тщетно допрашивала она, что со мною? Я не могла отвечать, я задыхалась. Наконец она поняла, что я в нервном припадке, и с беспокойством смотрела за мною. Отдохнув, я взяла ее руки и начала целовать их. Только теперь я одумалась, и только теперь пришло мне в голову, что я бы убила ее, если б не встреча с ее мужем. Я смотрела на нее как на воскресшую.

Вошел Петр Александрович.

Я взглянула на него мельком: он смотрел так, как будто между нами ничего не случилось, то есть был суров и угрюм по-всегдашнему. Но по бледному лицу и слегка вздрагивавшим краям губ его я догадалась, что он едва скрывает свое волнение. Он поздоровался с Александрой Михайловной холодно и молча сел на место. Рука его дрожала, когда он брал чашку чая. Я ожидала взрыва, и на меня напал какой-то безотчетный страх. Я уже хотела было уйти, но не решалась оставить Александру Михайловну, которая изменилась в лице, глядя на мужа. Она тоже предчувствовала что-то недоброе. Наконец то, чего я ожидала с таким страхом, случилось.

Среди глубокого молчания я подняла глаза и встретила очки Петра Александровича, направленные прямо на меня. Это было так неожиданно, что я вздрогнула, чуть не вскрикнула и потупилась. Александра Михайловна заметила мое движение.

– Что с вами? Отчего вы покраснели? – раздался резкий и грубый голос Петра Александровича.

Я молчала; сердце мое колотилось так, что я не могла вымолвить слова.

– Отчего она покраснела? Отчего она все краснеет? – спросил он, обращаясь к Александре Михайловне, нагло указывая ей на меня.

Негодование захватило мне дух. Я бросила умоляющий взгляд на Александру Михайловну. Она поняла меня. Бледные щеки ее вспыхнули.

– Аннета, – сказала она мне твердым голосом, которого я никак не ожидала от нее, – поди к себе, я через минуту к тебе приду: мы проведем вечер вместе...

– Я вас спрашиваю, слышали ли меня или нет? – прервал Петр Александрович, еще более возвышая голос и как будто не слыжав, что сказала жена. – Отчего вы краснеете, когда встречаетесь со мной? Отвечайте!

– Оттого, что вы заставляете ее краснеть и меня также, – отвечала Александра Михайловна прерывающимся от волнения голосом.

Я с удивлением взглянула на Александру Михайловну. Пылкость ее возражения с первого раза была мне совсем непонятна.

– Я заставляю вас краснеть, я? – отвечал ей Петр Александрович, казалось тоже вне себя от изумления и сильно ударяя на слово я. – За меня вы краснели? Да разве я могу вас заставить краснеть за меня? Вам, а не мне краснеть, как вы думаете?

Эта фраза была так понятна для меня, сказана с такой ожесточенной, язвительной насмешкой, что я вскрикнула от ужаса и бросилась к Александре Михайловне. Изумление, боль, укор и ужас изображались на смертельно побледневшем лице ее. Я взглянула на Петра Александровича, сложив с умоляющим видом руки. Казалось, он сам спохватился; но бешенство, вырвавшее у него эту фразу, еще не прошло. Однако ж, заметив безмолвную мольбу мою, он смутился. Мой жест говорил ясно, что я про многое знаю из того, что между ними до сих пор было тайной, и что я хорошо поняла слова его.

– Аннета, идите к себе, – повторила Александра Михайловна слабым, но твердым голосом, встав со стула, – мне очень нужно говорить с Петром Александровичем...

Она была, по-видимому, спокойна; но за это спокойствие я боялась больше, чем за всякое волнение. Я как будто не слыхала слов ее и оставалась на месте как вкопанная. Все силы мои напрягла я, чтоб прочесть на ее лице, что происходило в это мгновение в душе ее. Мне показалось, что она не поняла ни моего жеста, ни моего восклицания.

– Вот что вы наделали, сударыня! – проговорил Петр Александрович, взяв меня за руки и указав на жену.

Боже мой! Я никогда не видала такого отчаяния, которое прочла теперь на этом убитом, помертвевшем лице. Он взял меня за руку и вывел из комнаты. Я взглянула на них в последний раз. Александра Михайловна стояла, облокотясь на камин и крепко сжав обеими руками голову. Все положение ее тела изображало нестерпимую муку. Я охватила руку Петра Александровича и горячо сжала ее.

– Ради бога! ради бога! – проговорила я прерывающимся голосом, – пощадите!

– Не бойтесь, не бойтесь! – сказал он, как-то странно смотря на меня, – это ничего, это припадок. Ступайте же, ступайте.

Войдя в свою комнату, я бросилась на диван и закрыла руками лицо. Целые три часа пробыла я в таком положении и в это мгновение прожила целый ад. Наконец я не выдержала и послала спросить, можно ли мне прийти к Александре Михайловне. С ответом пришла мадам Леотар. Петр Александрович прислал сказать, что припадок прошел, опасности нет, но что Александре Михайловне нужен покой. Я не ложилась спать до трех часов утра и все думала, ходя взад и вперед по комнате. Положение мое было загадочнее, чем когда-нибудь, но я чувствовала себя как-то покойнее, – может быть, потому, что чувствовала себя всех виновнее. Я легла спать, с нетерпением ожидая завтрашнего утра.

Но на другой день я, к горестному изумлению, заметила какую-то необъяснимую холодность в Александре Михайловне. Сначала мне показалось, что этому чистому, благородному сердцу тяжело быть со мною после вчерашней сцены с мужем, которой я поневоле была свидетельницей. Я знала, что это дитя способно покраснеть передо мною и просить у меня же прощения за то, что несчастная сцена, может быть, оскорбила вчера мое сердце. Но вскоре я заметила в ней какую-то другую заботу и досаду, проявлявшуюся чрезвычайно неловко: то она ответит мне сухо и холодно, то слышится в словах ее какой-то особенный смысл; то, наконец, она вдруг делается со мной очень нежна, как будто раскаиваясь в этой суровости, которой не могло быть в ее сердце, и ласковые, тихие слова ее как будто звучат каким-то укором. Наконец я прямо спросила ее, что с ней и нет ли у ней чего мне сказать? На быстрый вопрос мой она немного смутилась, но тотчас же, подняв на меня свои большие тихие глаза и смотря на меня с нежной улыбкой, сказала:

– Ничего, Неточка; только знаешь что: когда ты меня так быстро спросила, я немного смутилась. Это оттого, что ты спросила так скоро... уверяю тебя. Но, слушай, – отвечай мне правду, дитя мое: есть что-нибудь у тебя на сердце такое, от чего бы ты так не смутилась, если б тебя о том спросили так же быстро и неожиданно?

– Нет, – отвечала я, посмотрев на нее ясными глазами.

– Ну, вот и хорошо! Если б ты знала, друг мой, как я тебе благодарна за этот

прекрасный ответ. Не то чтоб я тебя могла подозревать в чем-нибудь дурном, – никогда! Я не прощу себе и мысли об этом. Но слушай: взяла я тебя дитятей, а теперь тебе семнадцать лет. Ты видела сама: я больная, я сама как ребенок, за мной еще нужно ухаживать. Я не могла заменить тебе вполне родную мать, несмотря на то что любви к тебе слишком достало бы на то в моем сердце. Если ж теперь меня так мучит забота, то, разумеется, не ты виновата, а я. Прости ж мне и за вопрос и за то, что я, может быть, невольно не исполнила всех моих обещаний, которые дала тебе и батюшке, когда взяла тебя из его дома. Меня это очень беспокоит и часто беспокоило, друг мой.

Я обняла ее и заплакала.

– О, благодарю, благодарю вас за все! – сказала я, обливая ее руки слезами. – Не говорите мне так, не разрывайте моего сердца. Вы были мне больше чем мать; да благословит вас бог за все, что вы сделали оба, вы и князь, мне, бедной, оставленной! Бедная моя, родная моя!

– Полно, Неточка, полно! Обними меня лучше; так, крепче, крепче! Знаешь что? Бог знает отчего мне кажется, что ты в последний раз меня обнимаешь.

– Нет, нет, – говорила я, разрыдавшись, как ребенок, – нет, этого не будет! Вы будете счастливы!.. Еще впереди много дней. Верьте, мы будем счастливы.

– Спасибо тебе, спасибо, что ты так любишь меня. Теперь около меня мало людей; меня все оставили!

– Кто же оставили? кто они?

– Прежде были и другие кругом меня; ты не знаешь, Неточка. Они меня все оставили, все ушли, точно призраки были. А я их так ждала, всю жизнь ждала; бог с ними! Смотри, Неточка: видишь, какая глубокая осень; скоро пойдет снег: с первым снегом я и умру, – да; но я и не тужу. Прощайте!

Лицо ее было бледно и худо; на каждой щеке горело зловещее, кровавое пятно; губы ее дрожали и запеклись от внутреннего жара.

Она подошла к фортепьяно и взяла несколько аккордов; в это мгновение с треском лопнула струна и заняла в длинном дребезжащем звуке...

– Слышишь, Неточка, слышишь? – сказала она вдруг каким-то вдохновенным голосом, указывая на фортепьяно. – Эту струну слишком, слишком натянули: она не вынесла и умерла. Слышишь, как жалобно умирает звук!

Она говорила с трудом. Глухая душевная боль отразилась на лице ее, и глаза ее наполнились слезами.

– Ну, полно об этом, Неточка, друг мой; довольно; приведи детей.

Я привела их. Она как будто отдохнула, на них глядя, и через час отпустила их.

– Когда я умру, ты не оставишь их, Аннета? Да? – сказала она мне шепотом, как будто боясь, чтоб нас кто-нибудь не подслушал.

– Полноте, вы убьете меня! – могла только я проговорить ей в ответ.

– Я ведь шутила, – сказала она, помолчав и улыбнувшись. – А ты и поверила? Я ведь иногда бог знает что говорю. Я теперь как дитя; мне нужно все прощать.

Тут она робко посмотрела на меня, как будто боясь что-то выговорить. Я ожидала.

– Смотри не пугай его, – проговорила она наконец, потупив глаза, с легкой краской в лице и так тихо, что я едва расслышала.

– Кого? – спросила я с удивлением.

– Мужа. Ты, пожалуй, расскажешь ему все потихоньку.

– Зачем же, зачем? – повторяла я все более и более в удивлении.

– Ну, может быть, и не расскажешь, как знать! – отвечала она, стараясь как можно хитрее взглянуть на меня, хотя все та же простодушная улыбка блестела на губах ее и краска все более и более вступала ей в лицо. – Полно об этом; я ведь все шучу.

Сердце мое сжималось все сильнее и сильнее.

– Только послушай, ты их будешь любить, когда я умру, – да? – прибавила она серьезно и опять как будто с таинственным видом, – так, как бы родных детей своих

любила. – да? Припомни: я тебя всегда за родную считала и от своих не рознила.

– Да, да, – отвечала я, не зная, что говорю, и задыхаясь от слез и смущения.

Горячий поцелуй зажегся на руке моей, прежде чем я успела отнять ее. Изумление сковало мне язык.

«Что с ней? что она думает? что вчера у них было такое?» – пронеслось в моей голове.

Через минуту она стала жаловаться на усталость.

– Я уже давно больна, только не хотела пугать вас обоих, – сказала она. – Ведь вы меня оба любите, – да?.. До свидания, Неточка; оставь меня, а только вечером приходи ко мне непременно. Придешь?

Я дала слово; но рада была уйти. Я не могла более вынести.

Бедная, бедная! Какое подозрение провожает тебя в могилу? – восклицала я рыдая, – какое новое горе язвит и точит твое сердце, и о котором ты едва смеешь вымолвить слово? Боже мой! Это долгое страдание, которое я уже знала теперь все наизусть, эта жизнь без просвета, эта любовь робкая, ничего не требующая, и даже теперь, теперь, почти на смертном одре своем, когда сердце рвется пополам от боли, она, как преступная, боится малейшего ропота, жалобы, – и вообразив, выдумав новое горе, она уже покорила ему, помирилась с ним!..

Вечером, в сумерки, я, воспользовавшись отсутствием Оврова (приезжего из Москвы), прошла в библиотеку, отперла шкаф и начала рыться в книгах, чтоб выбрать какую-нибудь для чтения вслух Александре Михайловне. Мне хотелось отвлечь ее от черных мыслей и выбрать что-нибудь веселое, легкое... Я разбирала долго и рассеянно. Сумерки сгущались; а вместе с ними росла и тоска моя. В руках моих очутилась опять эта книга, развернутая на той же странице, на которой и теперь я увидала следы письма, с тех пор не сходившего с груди моей, – тайны, с которой как будто переломилось и вновь началось мое существование и повеяло на меня так много холодного, неизвестного, таинственного, неприветливого, уже и теперь издали так сурово грозившего мне... «Что с нами будет, – думала я, – угол, в котором мне было так тепло, так привольно, – пустеет! Чистый, светлый дух, охранявший юность мою, оставляет меня. Что впереди?» Я стояла в каком-то забытьи над своим прошедшим, так теперь милым сердцу, как будто силясь прозреть вперед, в неизвестное, грозившее мне... Я припоминаю эту минуту, как будто теперь вновь переживаю ее: так сильно врезалась она в моей памяти.

Я держала в руках письмо и развернутую книгу; лицо мое было омочено слезами. Вдруг я вздрогнула от испуга: надо мной раздался знакомый мне голос. В то же время я почувствовала, что письмо вырвали из рук моих. Я вскрикнула и оглянулась: передо мной стоял Петр Александрович. Он схватил меня за руку и крепко удерживал на месте; правой рукой подносил он к свету письмо и силился разобрать первые строки... Я закричала; я скорей готова была умереть, чем оставить это письмо в руках его. По торжествующей улыбке я видела, что ему удалось разобрать первые строки. Я теряла голову...

Мгновение спустя я бросилась к нему, почти не помня себя, и вырвала письмо из рук его. Все это случилось так скоро, что я еще сама не понимала, какие образом письмо очутилось у меня опять. Но, заметив, что он снова хочет вырвать его из рук моих, я поспешно спрятала письмо на груди и отступила на три шага.

Мы с полминуты смотрели друг на друга молча. Я еще содрогалась от испуга; он – бледный, с дрожащими, посинелыми от гнева губами, первый прервал молчание.

– Довольно! – сказал он слабым от волнения голосом. – Вы, верно, не хотите, чтоб я употребил силу; отдайте же мне письмо добровольно.

Только теперь я одумалась, и оскорбление, стыд, негодование против грубого насилия захватили мне дух. Горячие слезы потекли по разгоревшимся щекам моим. Я вся дрожала от волнения и некоторое время была не в силах вымолвить слова.

– Вы слышали? – сказал он, подойдя во мне на два шага...

– Оставьте меня, оставьте! – закричала я, отодвигаясь от него. – Вы поступили низко, неблагородно. Вы забылись!.. Пропустите меня!..

– Как? что это значит? И вы еще смеее принимать такой тон... после того, что вы... Отдайте, говорю вам!

Он еще раз шагнул ко мне, но, взглянув на меня, увидел в глазах моих столько решимости, что остановился, как будто в раздумье.

– Хорошо! – сказал он наконец сухо, как будто остановившись на одном решении, но все еще через силу подавляя себя. – Это своим чередом, а сперва...

Тут он осмотрелся кругом.

– Вы... кто вас пустил в библиотеку? почему этот шкаф открыт? где взяли ключ?

– Я не буду вам отвечать, – сказала я, – я не могу с вами говорить. Пустите меня, пустите!

Я пошла к дверям.

– Позвольте, – сказал он, остановив меня за руку, – вы так не уйдете!

Я молча вырвала у него свою руку и снова сделала движение к дверям.

– Хорошо же. Но я не могу вам позволить, в самом деле, получать письма от ваших любовников, в моем доме...

Я вскрикнула от испуга и взглянула на него как потерянная...

– И потому...

– Остановитесь! – закричала я. – Как вы можете? как вы могли мне сказать?.. Боже мой! боже мой!..

– Что? что! вы еще угрожаете мне?

Но я смотрела на него бледная, убитая отчаянием. Сцена между нами дошла до последней степени ожесточения, которого я не могла понять. Я молила его взглядом не продолжать далее. Я готова была простить за оскорбление, с тем чтоб он остановился. Он смотрел на меня пристально и видимо колебался.

– Не доводите меня до крайности, – прошептала я в ужасе.

– Нет-с, это нужно кончить! – сказал он наконец, как будто одумавшись. – Признаюсь вам, я было колебался от этого взгляда, – прибавил он с странной улыбкой. – Но, к несчастью, дело само за себя говорит. Я успел прочитать начало письма. Это письмо любовное. Вы меня не разуберите! нет, выкиньте это из головы! И если я усомнился на минуту, то это доказывает только, что ко всем вашим прекрасным качествам я должен присоединить способность отлично лгать, а потому повторяю...

По мере того как он говорил, его лицо все более и более искажалось от злобы. Он бледнел; губы его кривились и дрожали, так что он, наконец, с трудом произнес последние слова. Становилось темно. Я стояла без защиты, одна, перед человеком, который в состоянии оскорблять женщину. Наконец, все видимости были против меня; я терзалась от стыда, терялась, не могла понять злобы этого человека. Не отвечая ему, вне себя от ужаса я бросилась вон из комнаты и очнулась, уж стоя при входе в кабинет Александры Михайловны. В это мгновение послышались и его шаги; я уже хотела войти в комнату, как вдруг остановилась как бы пораженная громом.

«Что с нею будет? – мелькнуло в моей голове. – Это письмо!.. Нет, лучше всё на свете, чем этот последний удар в ее сердце», – и я бросилась назад. Но уж было поздно: он стоял подле меня.

– Куда хотите пойдете, – только не здесь, не здесь! – шепнула я, схватив его руку. – Пощадите ее! Я приду опять в библиотеку или... куда хотите! Вы убьете ее!

– Это вы убьете ее! – отвечал он, отстраняя меня.

Все надежды мои исчезли. Я чувствовала, что ему именно хотелось перенести всю сцену к Александре Михайловне.

– Ради бога! – говорила я, удерживая его всеми силами.

Но в это мгновение поднялась портьера, и Александра Михайловна очутилась перед нами. Она смотрела на нас в удивлении. Лицо ее было бледнее всегдашнего. Она с трудом держалась на ногах. Видно было, что ей больших усилий стоило дойти до нас, когда она слышала наши голоса.

– Кто здесь? о чем вы здесь говорили? – спросила она, смотря на нас в крайнем изумлении.

Несколько мгновений длилось молчание, и она побледнела как полотно. Я бросилась к ней, крепко обняла ее и увлекла назад в кабинет. Петр Александрович вошел вслед за мною. Я спрятала лицо свое на груди ее и все крепче, крепче обнимала ее, замирая от ожидания.

– Что с тобою, что с вами? – спросила в другой раз Александра Михайловна.

– Спросите ее. Вы еще вчера так ее защищали, – сказал Петр Александрович, тяжело опускаясь в кресла.

Я все крепче и крепче сжимала ее в своих объятиях.

– Но, боже мой, что ж это такое? – проговорила Александра Михайловна в страшном испуге. – Вы так раздражены, она испугана, в слезах. Аннета, говори мне все, что было между вами.

– Нет, позвольте мне сперва, – сказал Петр Александрович, подходя к нам, взяв меня за руку и оттащив от Александры Михайловны. – Стойте тут, – сказал он, указав на середину комнаты. – Я вас хочу судить перед той, которая заменила вам мать. А вы успокойтесь, сядьте, – прибавил он, усаживая Александру Михайловну на кресла. – Мне горько, что я не мог вас избавить от этого неприятного объяснения; но оно необходимо.

– Боже мой! что ж это будет? – проговорила Александра Михайловна, в глубокой тоске перенося свой взгляд поочередно на меня и на мужа. Я ломала руки, предчувствуя роковую минуту. От него я уж не ожидала пощады.

– Одним словом, – продолжал Петр Александрович, – я хотел, чтоб вы рассудили вместе со мною. Вы всегда (и не понимаю отчего, это одна из ваших фантазий), вы всегда – еще вчера, например, – думали, говорили... но не знаю, как сказать; я краснею от предположений... Одним словом, вы защищали ее, вы нападали на меня, вы уличали меня в *неуместной* строгости; вы намекали еще на какое-то *другое чувство*, будто бы вызывающее меня на эту *неуместную* строгость; вы... но я не понимаю, отчего я не могу подавить своего смущения, эту краску в лице при мысли о ваших предположениях; отчего я не могу сказать о них гласно, открыто, при ней... Одним словом, вы...

– О, вы этого не сделаете! нет, вы не скажете этого! – вскрикнула Александра Михайловна, вся в волнении, сгорев от стыда, – нет, вы пощадите ее. Это я, я все выдумала! Во мне нет теперь никаких подозрений. Простите меня за них, простите. Я больна, мне нужно простить, но только не говорите ей, нет... Аннета, – сказала она, подходя ко мне, – Аннета, уйди отсюда, скорее, скорее! Он шутил; это я всему виновата; это неуместная шутка...

– Одним словом, вы ревновали меня к ней, – сказал Петр Александрович, без жалости бросив эти слова в ответ ее тоскливому ожиданию. Она вскрикнула, побледнела и оперлась на кресло, едва удерживаясь на ногах.

– Бог вам простит! – проговорила она наконец слабым голосом. – Прости меня за него, Неточка, прости; я была всему виновата. Я была больна, я...

– Но это тиранство, бесстыдство, низость! – закричала я в исступлении, поняв, наконец, все, поняв, зачем ему хотелось осудить меня в глазах жены. – Это достойно презрения; вы...

– Аннета! – закричала Александра Михайловна, в ужасе схватив меня за руки.

– Комедия! комедия, и больше ничего! – проговорил Петр Александрович, подступая к нам в неизобразимом волнении. – Комедия, говорю я вам, – продолжал он, пристально и с зловещей улыбкой смотря на жену, – и обманутая во всей этой комедии одна – вы. Поверьте, что мы, – произнес он, задыхаясь и указывая на меня, – не боимся таких объяснений; поверьте, что мы уж не так целомудренны, чтоб оскорбляться, краснеть и затыкать уши, когда нам заговорят о подобных делах. Извините, я выражаюсь просто, прямо, грубо, может быть, но – так должно. Уверены ли вы, сударыня, в порядочном поведении этой... девицы?

– Боже! что с вами? Вы забылись! – проговорила Александра Михайловна, остолбенев, помертвев от испуга.

– Пожалуйста, без громких слов! – презрительно перебил Петр Александрович. – Я не

люблю этого. Здесь дело простое, прямое, пошлое до последней пошлости. Я вас спрашиваю о ее поведении; знаете ли вы...

Но я не дала ему договорить и, схватив его за руки, с силою оттащила в сторону. Еще минута – и все могло быть потеряно.

– Не говорите о письме! – сказала я быстро, шепотом. – Вы убьете ее на месте. Упрек мне будет упреком ей в то же время. Она не может судить меня, потому что я все знаю... понимаете, я *все* знаю!

Он пристально, с диким любопытством посмотрел на меня – и смешался; кровь выступила ему на лицо.

– Я *все* знаю, *все*! – повторила я.

Он еще колебался. На губах его шевелился вопрос. Я предупредила:

– Вот что было, – сказала я вслух, наскоро, обращаясь к Александре Михайловне, которая глядела на нас в робком, тоскливом изумлении. – Я виновата во всем. Уж четыре года тому, как я вас обманывала. Я унесла ключ от библиотеки и уж четыре года потихоньку читаю книги. Петр Александрович застал меня над такой книгой, которая... не могла, не должна была быть в руках моих. Испугавшись за меня, он преувеличил опасность в глазах ваших!.. Но я не оправдываюсь (поспешила я, заметив насмешливую улыбку на губах его): я во всем виновата. Соблазн был сильнее меня, и, согрешив раз, я уж стыдилась признаться в своем проступке... Вот все, почти все, что было между нами...

– О-го, как бойко! – прошептал подле меня Петр Александрович.

Александра Михайловна выслушала меня с глубоким вниманием; но в лице ее видимо отражалась недоверчивость. Она попеременно взглядывала то на меня, то на мужа. Наступило молчание. Я едва переводила дух. Она опустила голову на грудь и закрыла рукою глаза, соображая что-то и, очевидно, взвешивая каждое слово, которое я произнесла. Наконец она подняла голову и пристально посмотрела на меня.

– Неточка, дитя мое, я знаю, ты не умеешь лгать, – проговорила она. – . Это все, что случилось, решительно все?

– Все, – отвечала я.

– Все ли? – спросила она, обращаясь к мужу.

– Да, все, – отвечал он с усилием, – все!

Я отдохнула.

– Ты даешь мне слово, Неточка?

– Да, – отвечала я не запинаясь.

Но я не утерпела и взглянула на Петра Александровича. Он смеялся, выслушав, как я дала слово. Я вспыхнула, и мое смущение не укрылось от бедной Александры Михайловны. Подавляющая, мучительная тоска отразилась на лице ее.

– Довольно, – сказала она грустно. – Я вам верю. Я не могу вам не верить.

– Я думаю, что такого признания достаточно, – проговорил Петр Александрович. – Вы слышали? Что прикажете думать?

Александра Михайловна не отвечала. Сцена становилась все тягостнее и тягостнее.

– Я завтра же пересмотрю все книги, – продолжал Петр Александрович. – Я не знаю, что там еще было; но...

– А какую книгу читала она? – спросила Александра Михайловна.

– Книгу? Отвечайте вы, – сказал он, обращаясь ко мне. – Вы умеете лучше меня *объяснять дело*, – прибавил он с затаенной насмешкой.

Я смутилась и не могла выговорить ни слова. Александра Михайловна покраснела и опустила глаза. Наступила долгая пауза. Петр Александрович в досаде ходил взад и вперед по комнате.

– Я не знаю, что между вами было, – начала наконец Александра Михайловна, робко выговаривая каждое слово, – но если *это только* было, – продолжала она, силясь дать особенный смысл словам своим, уже смутившаяся от неподвижного взгляда своего мужа, хотя она и старалась не глядеть на него, – если *только это* было, то я не знаю, из-за чего

нам всем горевать и так отчаиваться. Виноватее всех я, я одна, и это меня очень мучит. Я пренебрегла ее воспитанием, я и должна отвечать за все. Она должна простить мне, и я ее осудить не могу и не смею. Но, опять, из-за чего ж нам отчаиваться? Опасность прошла. Взгляните на нее, – сказала она, одушевляясь все более и более и бросая пытливый взгляд на своего мужа, – взгляните на нее: неужели ее неосторожный поступок оставил хоть какие-нибудь последствия? Неужели я не знаю ее, дитяти моего, моей дочери милой? Неужели я не знаю, что ее сердце чисто и благородно, что в этой хорошенькой головке, – продолжала она, лаская меня и привлекая к себе, – ум ясен и светел, а совесть боится обмана... Полноте, мои милые! Перестанем! Верно, другое что-нибудь затаилось в нашей тоске; может быть, на нас только мимолетом легла враждебная тень. Но мы разгоним ее любовью, добрым согласием и рассеем недоумение наше. Может быть, много недоговорено между нами, и я винюсь первая. Я первая таилась от вас, у меня у первой родились бог знает какие подозрения, в которых виновата больная голова моя. Но... но если уж мы отчасти и высказались, то вы должны оба простить меня, потому... потому, наконец, что нет большого греха в том, что я подозревала...

Сказав это, она робко и краснея взглянула на мужа и с тоскою ожидала слов его. По мере того как он ее слушал, насмешливая улыбка показывалась на его губах. Он перестал ходить и остановился прямо перед нею, закинув назад руки. Он, казалось, рассматривал ее смущение, наблюдал его, любовался им; чувствуя над собой его пристальный взгляд, она смешалась. Он переждал мгновение, как будто ожидая чего-нибудь далее. Смущение ее удвоилось. Наконец он прервал тягостную сцену тихим долгим язвительным смехом:

– Мне жаль вас, бедная женщина! – сказал он наконец горько и серьезно, перестав смеяться. – Вы взяли на себя роль, которая вам не по силам. Чего вам хотелось? Вам хотелось поднять меня на ответ, поджечь меня новыми подозрениями или, лучше сказать, старым подозрением, которое вы плохо скрыли в словах ваших? Смысл ваших слов, что сердиться на нее нечего, что она хороша и после чтения безнравственных книг, мораль которых, – говорю от себя, – кажется, уже принесла кой-какие успехи, что вы, наконец, за нее отвечаете сами; так ли? Ну-с, объяснив это, вы намекаете на что-то другое; вам кажется, что подозрительность и гонения мои выходят из какого-то другого чувства. Вы даже намекали мне вчера – пожалуйста, не останавливайте меня, я люблю говорить прямо – вы даже намекали вчера, что у некоторых людей (помню, что, по вашему замечанию, эти люди всего чаще бывают степенные, суровые, прямые, умные, сильные, и бог знает каких вы еще не давали определений в припадке великодушия!), что у некоторых людей, повторяю, любовь (и бог знает почему вы это выдумали!) и проявляться не может иначе как сурово, горячо, круто, часто подозрениями, гонениями. Я уж не помню хорошо, так ли именно вы говорили вчера... Пожалуйста, не останавливайте меня; я знаю хорошо вашу воспитанницу; ей все можно слышать, все, повторяю вам в сотый раз, – все. Вы обмануты. Но не знаю, отчего вам угодно так настаивать на том, что я-то именно и есть такой человек! Бог знает зачем вам хочется нарядить меня в этот шутовской кафтан. Не в летах моих любовь к этой девице; да наконец, поверьте мне, сударыня, я *знаю свои обязанности*, и, как бы великодушно вы ни извиняли меня, я буду говорить прежнее, что *преступление всегда остается преступлением, что грех всегда будет грехом, постыдным, гнусным, неблагородным, на какую бы степень величия вы ни вознесли порочное чувство!* Но довольно! довольно! и чтоб я не слыхал более об этих гадостях!

Александра Михайловна плакала.

– Ну, пусть я несу это, пусть это мне! – проговорила она наконец, рыдая и обнимая меня, – пусть постыдны были мои подозрения, пусть вы насмеялись так сурово над ними! Но ты, моя бедная, за что ты осуждена слушать такие оскорбления? И я не могу защитить тебя! Я безгласна! Боже мой! я не могу молчать, сударь! Я не вынесу... Ваше поведение безумно!..

– Полноте, полноте! – шептала я, стараясь утишить ее волнение, боясь, чтоб жестокие укоры не вывели его из терпения. Я все еще трепетала от страха за нее.

– Но, слепая женщина! – закричал он, – но вы не знаете, вы не видите...

Он остановился на минуту.

– Прочь от нее! – сказал он, обращаясь ко мне и вырывая мою руку из рук Александры Михайловны. – Я вам не позволю прикасаться к жене моей; вы мараете ее; вы оскорбляете ее своим присутствием! Но... но что же заставляет меня молчать, когда нужно, когда необходимо говорить? – закричал он, топнув ногою. – И я скажу, я все скажу. Я не знаю, что вы там *знаете*, сударыня, и чем вы хотели пригрозить мне, да и знать не хочу. Слушайте! – продолжал он, обращаясь к Александре Михайловне, – слушайте же.

– Молчите! – закричала я, бросаясь вперед, – молчите, ни слова!

– Слушайте...

– Молчите во имя.

– Во имя чего, сударыня? – перебил он, быстро и пронзительно взглянув мне в глаза, – во имя чего? Знайте же, я вырвал из рук ее письмо от любовника! Вот что делается в нашем доме! вот что делается подле вас! вот чего вы не видали, не заметили!

Я едва устояла на месте. Александра Михайловна побледнела как смерть.

– Этого быть не может, – прошептала она едва слышным голосом.

– Я видел это письмо, сударыня; оно было в руках моих; я прочел первые строки и не ошибся: письмо было от любовника. Она вырвала его у меня из рук. Оно теперь у нее, – это ясно, это так, в этом нет сомнения; а если вы еще сомневаетесь, то взгляните на нее и попробуйте потом надеяться хоть на тень сомнения.

– Неточка! – закричала Александра Михайловна, бросаясь ко мне. – Но нет, не говори, не говори! Я не знаю, что это было, как это было... боже мой, боже мой!

И она зарыдала, закрыв лицо руками.

– Но нет! этого быть не может! – закричала она опять. – Вы ошиблись. Это... это я знаю, что значит! – проговорила она, пристально смотря на мужа. – Вы... я... не могла, ты меня не обманешь, ты меня не можешь обманывать! Расскажи мне все, все без утайки: он ошибся? да, не правда ли, он ошибся? Он видел другое, он ослеплен? да, не правда ли? не правда ли? Послушай: отчего же мне не сказать всего, Аннета, дитя мое, родное дитя мое?

– Отвечайте, отвечайте скорее! – послышался надо мною голос Петра Александровича. – Отвечайте: видел или нет я письмо в руках ваших?..

– Да! – отвечала я, задыхаясь от волнения.

– Это письмо от вашего любовника?

– Да! – отвечала я.

– С которым вы и теперь имеете связь?

– Да, да, да! – говорила я, уже не помня себя, отвечая утвердительно на все вопросы, чтоб добиться конца нашей мук.

– Вы слышали ее. Ну, что вы теперь скажете? Поверьте, доброе, слишком доверчивое сердце, – прибавил он, взяв руку жены, – поверьте мне и разуверьтесь во всем, что породило болезненное воображение ваше. Вы видите теперь, кто такая эта... девица. Я хотел только поставить невозможность рядом с подозрениями вашими. Я давно все это заметил и рад, что наконец изобличил ее пред вами. Мне было тяжело видеть ее подле вас, в ваших объятиях, за одним столом вместе с нами, в доме моем, наконец. Меня возмущала слепота ваша. Вот почему, и только поэтому, я обращал на нее внимание, следил за нею; это-то внимание бросилось вам в глаза, и, взяв бог знает какое подозрение за исходную точку, вы бог знает что заплели по этой канве. Но теперь положение разрешено, кончено всякое сомнение, и завтра же, сударыня, завтра же вы не будете в доме моем! – кончил он, обращаясь ко мне.

– Остановитесь! – сказала Александра Михайловна, приподымаясь со стула. – Я не верю всей этой сцене. Не смотрите на меня так страшно, не смейтесь надо мной. Я вас же и призову на суд моего мнения. Аннета, дитя мое, подойди ко мне, дай твою руку, так. Мы все грешны! – сказала она дрожащим от слез голосом и со смирением взглянула на мужа, – и кто из нас может отвергнуть хоть чью-либо руку? Дай же мне свою руку, Аннета, милое дитя мое; я не достойнее, не лучше тебя; ты не можешь оскорблять меня своим присутствием, потому что я тоже, *тоже* грешница.

– Сударыня! – закричал Петр Александрович в изумлении, – сударыня! удержитесь! не забывайте!..

– Я ничего не забываю. Не прерывайте же меня и дайте мне досказать. Вы видели в ее руках письмо; вы даже читали его; вы говорите, и она... призналась, что это письмо от того, кого она любит. Но разве это доказывает, что она преступна? разве это позволяет вам так обходиться с нею, так обижать ее в глазах жены вашей? Да, сударь, в глазах жены вашей? Разве вы рассудили это дело? Разве вы знаете, как это было?

– Но мне остается бежать, прощения просить у нее. Этого ли вы хотели? – закричал Петр Александрович. – Я потерял терпение, вас слушая! Вы вспомните, о чем вы говорите! Знаете ли вы, о чем вы говорите? Знаете ли, что и *кого* вы защищаете? Но ведь я все насквозь вижу...

– И самого первого дела не видите, потому что гнев и гордость мешают вам видеть. Вы не видите того, что я защищаю и о чем хочу говорить. Я не порок защищаю. Но рассудили ли вы, – а вы ясно увидите, коли рассудите, – рассудили ли вы, что, может быть, она как ребенок невинна! Да, я не защищаю порока! Я спешу оговориться, если это вам будет очень приятно. Да; если б она была супруга, мать и забыла свои обязанности, о, тогда бы я согласилась с вами... Видите, я оговорилась. Заметьте же это и не корите меня! Но если она получила это письмо, не ведая зла? Если она увлеклась неопытным чувством и некому было удержать ее? если я первая виноватее всех, потому что не уследила за сердцем ее? если это письмо первое? если вы оскорбили вашими грубыми подозрениями ее девственное, благоуханное чувство? если вы загрязнили ее воображение своими циническими толками об этом письме? если вы не видали этого целомудренного, девственного стыда, который сияет на лице ее, чистый, как невинность, который я вижу теперь, который я видела, когда она, потерянная, измученная, не зная, что говорить, и разрываясь от тоски, отвечала признанием на все ваши бесчеловечные вопросы? Да, да! это бесчеловечно, это жестоко; я не узнаю вас; я вам не прощу этого никогда, никогда!

– Да, пощадите, пощадите меня! – закричала я, сжимая ее в объятиях. – Пощадите, верьте, не отталкивайте меня...

Я упала перед нею на колени.

– Если, наконец, – продолжала она задыхающимся голосом, – если б, наконец, не было меня подле нее, и если б вы запугали ее словами своими, и если б бедная сама уверилась, что она виновата, если б вы смутили ее совесть, душу и разбили покой ее сердца... боже мой! Вы хотели выгнать ее из дома! Но знаете ли, с кем это делают? Вы знаете, что если ее выгоните, то выгоните нас вместе, нас обеих, – и меня тоже. Вы слышали меня, сударь?

Глаза ее сверкали; грудь волновалась; болезненное напряжение ее дошло до последнего кризиса.

– Так довольно же я слушал, сударыня! – закричал наконец Петр Александрович, – довольно этого! Я знаю, что есть страсти платонические, – и на мою пагубу знаю это, сударыня, слышите? на мою пагубу. Но не ужиться мне, сударыня, с озолоченным пороком! Я не понимаю его. Прочь мишуру! И если вы чувствуете себя виноватою, если знаете за собой что-нибудь (не мне напоминать вам, сударыня), если вам нравится, наконец, мысль оставить мой дом... то мне остается только сказать, напомнить вам, что напрасно вы позабыли исполнить ваше намерение, когда была настоящая пора, настоящее время, лет назад тому... если вы позабыли, то я вам напомню...

Я взглянула на Александру Михайловну. Она судорожно опиралась на меня, изнемогая от душевной скорби, полузакрыв глаза, в неистощимой муке. Еще минута, и она готова была упасть.

– О, ради бога, хоть в этот раз пощадите ее! Не выговаривайте последнего слова, – закричала я, бросаясь на колени перед Петром Александровичем и забыв, что изменяла себе. Но было поздно. Слабый крик раздался в ответ словам моим, и бедная упала без чувств на пол.

– Кончено! вы убили ее! – сказала я. – Зовите людей, спасайте ее! Я вас жду у вас в

кабинете. Мне нужно с вами говорить; я вам все расскажу...

– Но что? но что?

– После!

Обморок и припадки продолжались два часа. Весь дом был в страхе. Доктор сомнительно качал головою. Через два часа я вошла в кабинет Петра Александровича. Он только что воротился от жены и ходил взад и вперед по комнате, кусая ногти в кровь, бледный, расстроенный. Я никогда не видала его в таком виде.

– Что же вам угодно сказать мне? – проговорил он суровым, грубым голосом. – Вы что-то хотели сказать?

– Вот письмо, которое вы перехватили у меня. Вы его узнаете?

– Да.

– Возьмите его.

Он взял письмо и поднес к свету. Я внимательно следила за ним. Через несколько минут он быстро обернул на четвертую страницу и прочел подпись. Я видела, как кровь бросилась ему в голову.

– Что это? – спросил он у меня, остолбенев от изумления.

– Три года тому, как я нашла это письмо в одной книге. Я догадалась, что оно было забыто, прочла его и – узнала все. С тех пор оно оставалось при мне, потому что мне некому было отдать его. Ей я отдать его не могла. Вам? Но вы не могли не знать содержания этого письма, а в нем вся эта грустная повесть... Для чего ваше притворство – не знаю. Это, покамест, темно для меня. Я еще не могу ясно вникнуть в вашу темную душу. Вы хотели удержать над ней первенство и удержали. Но для чего? для того, чтоб восторжествовать над призраком, над расстроенным воображением больной, для того, чтоб доказать ей, что она заблуждалась и что вы *безгрешнее* ее! И вы достигли цели, потому что это подозрение ее – неподвижная идея угасающего ума, может быть, последняя жалоба разбитого сердца на несправедливость приговора людского, с которым вы были заодно. «Что ж за беда, что вы меня полюбили?» Вот что она говорила, вот что хотелось ей доказать вам. Ваше тщеславие, ваш ревнивый эгоизм были безжалостны. Прощайте! Объяснений не нужно! Но, смотрите, я вас знаю всего, вижу насквозь, не забывайте же этого!

Я вошла в свою комнату, едва помня, что со мной сделалось. У дверей меня остановил Овров, помощник в делах Петра Александровича.

– Мне бы хотелось поговорить с вами, – сказал он с учтивым поклоном. Я смотрела на него, едва понимая то, что он мне сказал.

– После, извините меня, я нездорова, – отвечала я наконец, проходя мимо него.

– Итак, завтра, – сказал он, откланиваясь, с какою-то двусмысленною улыбкой.

Но, может быть, это мне так показалось. Все это как будто мелькнуло у меня перед глазами.